## Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

---


- Евгений Соловьев
  - ОТ АВТОРА
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ГЛАВА X
  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

# Евгений Соловьев
# Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность

***Биографический очерк Евгения Соловьева.***
***С портретом Писарева, гравированным в Лейпциге Геданом.***

# ОТ АВТОРА

Предлагаемый читателю биографический очерк явился, так сказать, результатом коллективного труда, причем большая часть сведений о детстве и юности Д. И. Писарева заимствованы из воспоминаний о нем его сестры В. И. Писаревой, к сожалению, еще не напечатанных. Для истории духовного развития Писарева самым ценным документом – не считая, разумеется, сочинений, – явились его собственные письма к матери, ее же рукой переписанные в 13 толстых тетрадей. Эти письма очень многочисленны и отличаются полной откровенностью и обилием подробностей. Писарев не скрывал никогда от матери ни одного движения своего сердца, ни одной мысли. Необходимо еще упомянуть и о личных рассказах тех, кто знал Д. И. Писарева и по прошествии 25 лет сохранил о нем самое теплое, а иногда и восторженное, воспоминание. Второе выходящее теперь в свет издание биографии отличается от первого как новой группировкой материала, так и значительно большим количеством приводимых в нем отрывков из неизданных писем Писарева.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Дойдя в своих “Воспоминаниях” до 1859 года, Шелгунов говорит: “С этого года мои воспоминания получают другой характер. Я вступаю в сношения с людьми, память о которых связана с лучшими годами моей жизни… И какая же это память, какая благоговейная память и как она дорога мне! Самая широкая гуманность и великодушные чувства нашли в этих людях лучших своих поборников… Если у меня, старика, у которого уже нет будущего, бывают еще теплые и светлые минуты в жизни, то только в воспоминаниях о них”.

Наш очерк посвящен жизни и деятельности одного из тех людей, память о которых была благоговейной для честного Шелгунова, т. е. Д. И. Писарева. Мы вполне понимаем ту ответственность, которую берем на себя, тем более что на этой благоговейной памяти накопилось с течением времени столько лжи и самых разнузданных клеветнических выходок, что сразу смыть всю эту грязь является едва ли возможным. Ведь о Писареве еще и теперь в моде такие рассказы, в которых он фигурирует в качестве человека, для которого не было ничего святого в жизни: еще недавно один из самых наглых представителей современной критики (Волынский) печатаю уверял, что деятельность Писарева в конечном результате сводилась к растлению литературы. Для опровержения подобных рассказов и мнений есть только одно оружие – полная правдивость, полное отсутствие укрывательства. Этого правила мы и будем держаться в нашем очерке.

Мы признаем, что Писарев обладал большой интеллектуальной силой, что он как критик и публицист сыграл важную и плодотворную роль в истории нашего духовного развития; мы высоко ценим его личные дарования, но, памятуя, что каждый человек – дитя своей эпохи, предпочитаем начать свое изложение с характеристики того общественного движения, среди которого жил и работал Писарев. Это движение, известное под названием “шестидесятых годов”, может быть понято правильно лишь при условии сравнения его с тем, которое предшествовало ему и породило его. Мы говорим о сороковых годах XIX века.

*

Между сороковыми и шестидесятыми годами разница вообще очень существенна. В настоящую минуту, например, мы гораздо ближе к первым, чем к последним. Шестидесятые годы мы не прочь даже развенчивать, и наши современные гимназисты ясно представляют себе “все их крайности и увлечения”. Указывают на криминальные проступки: развенчание Пушкина и Лермонтова, ожесточенные нападки на Тургенева, утверждают даже, что тогда “сапоги предпочитались Шекспиру”, что, впрочем, несправедливо. Но главная беда шестидесятых годов – это преклонение перед пользой. “Польза, польза, – патетически восклицает г-н Мережковский. – Чей светлый ум не помрачало это слово в наш век?” И светлые умы шестидесятых годов находились в помрачении от этого ужасного призрака. Что у них за идеалы? “Искусство должно служить жизни”, “человек обязан стремиться к общему благу”. Боже мой, какая скука. Как все это мелко, утилитарно, как мал размах и вместе с тем какая ожесточенная, узкая нетерпимость. “Современник” громит Тургенева, он же чуть не с пеной у рта набрасывается на Писарева; Писарев в лоск отделывает Щедрина, каждый месяц раздается вызывающий свист. Словом, что-то ужасное, ни с чем не сообразное. Рассмотреть же за всем этим ужасным и несообразным живое человеческое начало, глубокую веру, хотевшую горы сдвинуть с места, – нелегко. Нападать гораздо легче, тем более что угловатостей у шестидесятников – сколько угодно.

Люди сороковых годов первыми почувствовали, что они чужды этой начинавшейся новизне. Тургенев рассорился с “Современником”, Григорович оставил литературу, “обожаемому” 20 лет тому назад Пушкину был брошен гордый вызов. Даже Лермонтов, повторяю, не уцелел, в чем были повинны, впрочем, не шестидесятые годы, а Зайцев, состоявший при Писареве в качестве адъютанта и ежеминутно готовый доводить до абсурда его точку зрения. Теперь причина этого разрыва между двумя поколениями для нас ясна. Попробуем сформулировать ее.

Сороковые годы отличались немалой отвлеченностью. Гегель был объявлен царем мысли. К нему обращались все мыслящие и чувствующие люди за решением всех своих сомнений как к новому дельфийскому оракулу и вопрошали его: “Что есть истина?” К сочинениям Гегеля подходили “со страхом и верою”, как выразился Огарев, и готовы были “стоять перед ним на коленях”, как говорит Грановский. “Есть вопросы, – писал последний, – на которые человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но все, что доступно теперь знанию человека, и самое знание у него чудесно объяснено”. Изучение философии Шеллинга и Гегеля превратилось в настоящий культ. Философские системы

не только передумывались, но и переживались. Ничтожные книжонки о Гегеле “исправно выписывались и зачитывались до дыр, до пятен в несколько дней”. Увлечение доходило до смешного: “всякое простое чувство возводилось в категории”, все определялось по субстанциям, гуляли не для того, чтобы освежиться и отдохнуть, а чтобы “отдаться пантеистическому чувству единства с космосом”. Все это любопытно и поучительно. Гегельянская закваска не могла исчезнуть очень долго, и опять-таки те же шестидесятые годы в известной статье Антоновича не только попытались развенчать Гегеля, но и обратить его в ничто. В искусстве сороковых годов Гегель также был учителем. С его точки зрения, цель искусства – воспроизводить прекрасное, проявлять гармонию. Таково его единственное назначение. Всякая другая цель: очищение, нравственное совершенствование, поучительность, – только подробности, аксессуары или следствия. Созерцание красоты вызывает в нас тихое и чистое наслаждение, несовместимое с грубыми удовольствиями чувственного характера: оно поднимает душу над обычной сферой ее помыслов, предрасполагает ее к благородным решениям и великодушным поступкам путем тесного сродства, существующего между чувствами и идеями добра, красоты и истины. Это и было исповеданием веры людей 40-х годов, оттого-то Белинский и написал, между прочим, целый том о Пушкине, а Анненков просидел несколько лет над изданием сочинений поэта. Где, в самом деле, так проявилась гармония, где так воспроизводилось прекрасное, как не у Пушкина? Ему поклонялись, его “обожали”, читали и комментировали, и впервые поняли его.

Искусство, творчество – вот высшее в жизни. Только здесь человек лучше всего, полнее всего, без всякой зависимости проявляет самого себя и получает наслаждение, равного которому нет на земле. Григорович трогательно высказал этот взгляд в заключительных словах своих воспоминаний. Разумеется, это не мешало людям сороковых годов быть гуманистами, в них жило сознание человеческого достоинства, и они возмущались, видя это достоинство затоптанным в грязь. Но еще больше, чем возмущения, было радости, высокой, несоизмеримой ни с чем радости творчества, созерцания красоты, проявления гармонии.

Эта одна сторона сороковых годов. Была в них и другая, развившаяся и определившаяся лишь в шестидесятые. Я говорю о демократической струне, о жалости ко всем униженным и оскорбленным, о желании счастья человеку, каким бы он ни был в настоящую минуту. Оказалось, что созерцать красоту и проявлять гармонию, по крайней мере, недостаточно. Ведь у того же пророка Гегеля есть прямо обидные слова. Например:

“нечего, – говорит он, – проливать слезы и жаловаться, что хорошим и нравственным людям часто и даже большей частью плохо живется, тогда как дурным и злым хорошо”. Позвольте, как так нечего плакать? Нет, тут есть от чего плакать, надо не только красоту созерцать, не только проявлять гармонию, но и думать о том, во имя того работать, чтобы “хорошим и нравственным людям” на самом деле хорошо жилось. “Мы, – говорила демократическая партия сороковых годов, – ровно ничего не имеем против красоты и гармонии. Мы обожаем их и поклоняемся им, только что же прикажете делать с униженными и оскорбленными?” Белинский глубоко задумался над этим и со своей обычной страстностью написал следующие строки: “Мне говорят: “развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом; плачь, дабы утешиться; скорби, дабы возрадоваться; стремясь к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься – падай, черт с тобой, таковский и был, с… с…!” Благодарю покорно, Егор Федорович Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне удалось влезть на высшую ступень развития, – я и там попросил бы вас отдать отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр., и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих собратий по крови”.

Это были пророческие слова. Белинский как нельзя лучше угадал то направление, по которому пойдет мысль русская. И она поклонится философскому колпаку, и она будет иметь честь донести, “что если дисгармония – условия гармонии, то уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии”.

Сороковые годы выработали идеал человека, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развития. Это было настолько ново в России, что мудрено было не увлечься таким идеалом. И им увлекались, больше даже – его боготворили. Разумеется, надо возвыситься над мерзкой и пошлой действительностью, надо уметь находить красоту во всем: и в сиянии солнца, и в жизни мужика. Только тот, кто достиг высшей ступени развития, кто познал наслаждения творчества, – может с полным достоинством называться человеком. Есть одна таинственная, притягательная область – область искусства, в которой, отдаваясь порывам вдохновения, талант может постигнуть всю красоту, всю гармонию жизни.

Но тут же началась и реакция. Человек – человеком, но где же

гражданин? Русская мысль сороковых годов слишком мало думала о гражданстве. Обиженный жизнью, окружающим его формализмом, жестокостью, человек инстинктивно искал какого-нибудь примирения с действительностью и находил его в творчестве, искусстве… Но звучала уже в эти богатые годы другая струна:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан…

Этой струне не все сочувствовали, не все, прямо говоря, поняли ее. Слишком трудно было отказаться от принятых взглядов; с этими взглядами связано так много дивных воспоминаний, им же люди были обязаны “долей истинного счастья”… На сцену выступили люди “весьма даровитые”, но “холодные и замкнутые”.[1] Опираясь на те же сороковые годы, на их демократизм, на их увлечение Жорж Санд, на их стремление осуществить свою мысль в действительности, они выдвинули на сцену прежде всего гражданские мотивы и идею нравственного долга человека перед обществом. Это было несколько скучно. Прежние кумиры легко могли не найти себе места и часто не находили его. Понятно, почему. В сороковых годах мирно уживались два направления: эстетическое и гуманитарное. Лучшие представители сороковых годов (Тургенев, Григорович и т. д.) соединяли в себе то и другое. Они столько же взывали к состраданию и уважению к униженному и оскорбленному, сколько заботились и о красоте формы. Они были классиками искусства и вместе с тем людьми, глубоко сочувствовавшими страданиям Антона Горемыки.

Но настала пора, и “общегуманитарные” воззрения пришлось перевести на практический язык. Как же, спросили себя, устроить дело так, чтобы Антон Горемыка не только возбуждал сочувствие и сострадание людей, достигших высших ступеней развития, но и вообще “был бы счастлив”? Законно ли, чтобы человек, описывая страдания Горемыки, чувствовал высочайшее художественное наслаждение и “испытывал истинное счастье”?…

Тут, как хотите, что-то такое есть.

Подвергнув “что-то такое” тщательному анализу, нашли, что люди сороковых годов, воспитанные на Гегеле и его эстетике, на общегуманитарных воззрениях, на доктрине, которая хотя и соглашалась признавать зло существующего, но постоянно старалась примирить его во имя дивной красоты и общей гармонии мироздания, – были больше

людьми, чем гражданами, имеющими ясное и определенное представление о тех путях, на которых может процветать, развиваться и совершенствоваться дорогое отечество. Надо было найти эти пути. Раскол неминуемо должен был произойти, и люди сороковых годов временно или навсегда устранили себя от литературной деятельности.

Но этот раскол не заключал в себе ничего принципиального; излюбленные идеи 40-х годов получили лишь специальную окраску. Деятели 60-х годов ведут свое литературное происхождение от деятелей 40-х, но они выдвинули на первый план “левую сторону”, выдвинули поклон Белинского философскому колпаку и музу Некрасова. Их главной задачей было разрешить вопросы о голодных и раздетых париях XIX века, и главная, основная, черта шестидесятых годов (так же, как сороковых) – это был их демократизм, но демократизм не отвлеченный, а практический и требовательный.

# ГЛАВА I

Детство. – Семья Писаревых. – Знаменское. – Воспитание. – Влияние матери. – Знаменский владетельный принц. – Отношение Писарева к матери и его собственный взгляд на полученное им воспитание

Первые годы жизни Д.И. Писарева переносят нас на границу Орловской и Тульской губерний, в родовое имение Писаревых – Знаменское.

Знаменское решительно ничем не отличалось от других помещичьих усадьб того времени. Административным и духовным центром его являлся старый каменный дом в три этажа, с мастерскими в нижнем, жилыми комнатами в среднем и совершенно заброшенным верхним этажом, наводившим на детей таинственный страх. Внутри – огромная передняя, вечно битком набитая степенными, взрослыми лакеями, на лицах которых тем ярче запечатлено высокое сознание собственного достоинства, чем дольше они протянули лямку; за передней – огромная зала в шесть окон, с необъятным бильярдом посередине, огромными старинными часами в углу и тяжелыми, неуклюжими, домашнего изделия стульями вдоль стен; из одного ряда окон открывается вид на реку и пруд. Дальше – гостиная, большая, глубокая, всегда, даже в самые жаркие дни, прохладная и хмурая от отсутствия солнца. Двери гостиной выходили прямо на балкон с ветхими деревянными перилами и широкими лестницами, спускавшимися по обе стороны в сад, носивший скромное название палисадника, по сравнению с двумя другими, еще большими садами. За гостиной помещалась детская, светлая, веселая, большая комната, окнами на юго-восток, весь день залитая солнцем; под окнами расстилался просторный барский двор со службами, расступавшимися по обе стороны, чтобы дать место вымощенной камнем дорожке к белой каменной церкви. А вот и две старые развесистые ели, вечно темные, черно-зеленые, вечно кивавшие своими мохнатыми вершинами, таинственно шептавшимися о чем-то. Длинный коридор отделял детскую от девичьей и спальной – большой темной комнаты, с окнами, весь день закрытыми черными “ручными” ставнями. Постоянно раскрытые двери вели из спальной в о́бразную – комнату с образа́ми.

Таково было родовое гнездо Писаревых. Высокий, трехэтажный каменный дом, стоявший на пригорке, окруженный многочисленными службами, садами – со скромной маленькой церковью перед собой –

властно царил над подчиненными ему владениями. Все в доме было старое, помещичье, помнившее еще XVIII век, – старыми были и покосившаяся крыша, и обросшие мхом камни фундамента, и дворянские идеи, твердо засевшие в головах обладателей этого помещичьего гнезда.

В начале сороковых годов в нем дружно и по-братски жила большая семья Писаревых – несколько сестер и братьев вместе. Их жизнь текла весело, шумно и привольно; без тяжелых дум и душевных потрясений, без гнетущей мысли о завтрашнем дне и изнуряющего труда из-за куска насущного хлеба; держались они мудрого правила – “довлеет дневи злоба его”, и заглядывать вперед не любили. Да и зачем? И впереди ждало их то же самое. Привольное и сытное житье, так как блаженным временам крепостничества в то время не предвиделось еще и конца.

Семья Писаревых жила так же, как жили в то время все дворянские семьи средней руки; знаменский дом, особенно со времени женитьбы отца Дмитрия Ивановича, был, что называется, открытым, и в него съезжалось множество гостей, все больше из местной провинциальной аристократии; а когда сюда же переселилась тетка Писарева, бойкая, красивая и умная молодая вдова, к этому обществу примкнула и молодежь какого-то конного полка, стоявшего поблизости, в уездном городе Задонске. Писаревы были радушны, гостеприимны и хлебосолы на широкую ногу. Они были дворянами чистой крови, и это отражалось не только на внешнем обиходе их жизни, но и на всем складе миросозерцания. Было в этом миросозерцании и хорошее, и дурное, как всегда в России, помесь культурного с азиатским, французского языка с крепким национальным словом и шампанского с водкой. Отличались Писаревы и безалаберностью, и широким барским великодушием, полным пренебрежением к деньгам и мелочным расчетам, отличались и рыцарски вежливым отношением к женщинам. Амуры и адюльтеры, разумеется, играли немалую роль в их жизни, но всякая нескромность в этом случае, всякий малейший оттенок хвастовства и фатовства считались чуть ли не уголовными преступлениями. К чести Писаревых надо, однако, сказать, что, несмотря на въевшееся в их плоть и кровь крепостничество, они были достаточно “аристократами” в лучшем смысле этого слова, чтобы не обижать своих холопок и “хамок” и не заводить себе гаремов, что по тому времени было исключением. С этими чертами характера мирно уживались барское самодурство, какая-то удаль и дикое молодечество. Навязать себе на шею уголовное дело так себе, за здорово живешь, чтобы потешить свою удалую голову, избить до полусмерти духовное лицо за то, что оно не свернуло с дороги с подобающей поспешностью, – все это было им нипочем. Но за

такие безобразия господа хорошо платили, почему и именовались “хорошими”.

Как истые баре Писаревы держали себя в высокомерном отдалении от сермяжной толпы своих подданных и жили рядом с ними, совершенно чуждые их быту и нуждам. Люди они были не жестокие, а относительно добрые, но между тем на их душе лежит не одна дикая выходка самодурного произвола. Заставить, например ключницу, почтенную женщину, принадлежавшую к дворовой аристократии, целый день катать пустые бочки из одного подвала в другой за то, что она осмелилась не в ту же минуту явиться на барский призыв и отозваться, что занята установкой кадок в погребе; послать человека пешком верст за пятнадцать за ту великую провинность, что он забыл на постоялом дворе баринов чубук, или велеть тому же человеку за какую-нибудь ошибку или просто неловкость дать самому себе определенное количество пощечин, – это все такие эпизоды, имя которым легион.

В такой-то чисто барской, помещичьей обстановке и родился 2 октября 1840 года Дмитрий Иванович Писарев.

Его воспитанием первые годы исключительно занялась мать. Что это было за воспитание – представить себе нетрудно. Мать Писарева – добрая, прекрасной и чистой души женщина, получила образование такое же, какое получали в то время все барышни из состоятельных дворянских семейств. Уменье говорить и даже думать по-французски, un peu de musique,[2] слабое знание немецкого языка, немножко истории и географии – вот и все образование. К этому надо прибавить хорошие манеры и несколько отдаленное знакомство с русским языком и литературой.

Принявшись за воспитание сына, мать Писарева, разумеется, не имела никакой педагогической подготовки. Дурно или хорошо, эту подготовку должна была заменить страстная материнская любовь, страстное желание сделать из сына хорошего человека. Но хороший человек – понятие относительное. В сороковые годы оно означало благовоспитанного джентльмена, умеющего держать себя в обществе, великолепно говорящего по-французски и по-немецки, знающего музыку, словом, – приличного во всех отношениях. Из Писарева должен был выйти “jeune homme correcte et bien élevé”[3] – какой и получился на самом деле.

Мать принялась за дело с большой торопливостью, происходившей, вероятно, от сознания собственной неумелости, от робости перед таким большим делом, как воспитание любимого сына. Четырех лет от роду Писарев уже бегло читал по-русски, а по-французски говорил, как

маленький парижанин. В таких успехах сказались как громадные способности ребенка, его удивительная память, так и старательность, приложенная матерью в деле воспитания. Без всякого преувеличения можно сказать, что Писарев учился целый день. Мать так дорожила каждой минутой, так была полна желания научить ребенка всему, что знала сама, что даже время прогулок не пропадало непроизводительно; не было и тут отдыха детской мысли: все время отдавалось упражнениям во французском языке; сначала мать придумывала целые длинные разговоры, целые длинные историйки на русском языке, употребляя в них заученные ребенком слова, а он переводил их на французский. Маленькому Писареву это занятие очень понравилось, а в скором времени он и сам стал выдумывать разговоры, изящно отделывая и округляя свои фразы; особенное же удовольствие ему доставляло, когда в прогулке принимал участие кто-нибудь из взрослых, взапуски с ним придумывавший примеры на слова, и тогда ребенок выбивался из сил выказать все свое “мастерство словесных дел”.

На физическое развитие обращалось внимания очень мало. Писарева, разумеется, держали в тепле и холе, хорошо кормили, но из-за французских диалогов совершенно забывали о необходимости для мальчика побегать и порезвиться. Как неопытная воспитательница мать шла по линии наименьшего сопротивления, обратив все свое внимание на изощрение тех способностей, которые и так даны были в избытке Писареву самой природой, т. е. памяти и воображения. Но она и не думала, что рыхлого, малоподвижного, слишком “умственного” мальчика надо прежде всего приучить к движению и воспитать в нем физическое и нравственное мужество. Нужно было тормошить не ум – сам по себе в высшей степени подвижный, – а весь организм, которому жизнь предназначала столько труда, лишений и страданий. Но этого не было.

Разумеется, ни одна демократическая струйка не примешивалась к воспитанию барича. Все равно, как сами Писаревы не считали нужным сближаться со своими сермяжными подданными, так не считали они нужным допускать подобное сближение и со стороны своего сына. Будущему дипломату или кавалергарду не требовалось заглядывать в курные избы, слышать деревенские песни или сказки няни-старухи о царевнах и царевичах, леших и домовых. Он не должен был видеть ничего неприятного, грубого, грязного. Ведь в то время не знали еще ни Антона Горемыки, ни мужика Марея; народническое движение еще не начиналось, и смыслом существования считали уйти как можно дальше от зипунов и курных изб, а не приблизиться к ним. По понятиям, царившим в

знаменском доме, барич мог лишь утерять свои прекрасные барские качества, сойдясь с мужичьем, заразиться предрассудками и суевериями, грубыми манерами и т. д., но выиграть ничего не мог. И, совершенно логично с точки зрения таких понятий, Писарева держали в полном неведении насчет деревни и деревенской жизни, употребляя все усилия на то, чтобы привить ему европейский лоск. Он так и вырос, ни разу не заглянув в курную избу, не унеся из детских лет ни одного хорошего или дурного воспоминания, в котором фигурировал бы мужик или хотя бы старуха-няня.

Писарев рос один, постоянно окруженный взрослыми, которые то баловали его, то наказывали, то испытывали над ним различные системы воспитания; но товарищества он не знал до самой своей юности. А между тем и у него проявлялась потребность в сверстниках, с которыми он мог бы порезвиться и, быть может, даже подраться немного – в пределах, дозволенных à un enfant d'une bonne maison.[4] Расскажу по этому поводу комический эпизод. Матери однажды пришла фантазия потешить сына, исполнив его заветную мечту – иметь возле себя товарища, – и вот его сестру Веру одели в его же собственное платье, сделали ей косой пробор и представили в качестве нового брата Васи. Писарев пришел в восторг от этой новости, хотя превосходно видел, что никакого нового лица нет, а есть только переодевание; но девочка вошла в свою роль и стала более мальчиком, чем он сам, и обнаружила такое буйство, что ее снова пришлось обратить в сестру Верочку. Мистификация продолжалась, однако, дня три, и когда девочка появилась опять в своем платьице, Писарев залился горькими слезами и долго не мог утешиться от своей разбитой мечты. “Как только я подумаю, что Верочка уж больше не мальчик”, – восклицал он ежеминутно, а за этим восклицанием следовал новый поток горячих детских слез.

Вырастая на диалогах и всевозможных “экзерциях”, вечно окруженный взрослыми, без товарищей и резвых игр, Писарев был ребенком очень вялым, физически слабым, серьезным не по летам и до смешного трусливым, зато почтительности и чисто пассивного повиновения в нем было столько, что их смело можно было сократить в несколько раз. Вот еще несколько эпизодов, достаточно ярко характеризующих будущего нигилиста и сокрушителя верований.

Писарев постоянно нюнил. Достаточно было самого незначительного повода, чтобы из его глаз полился обильный поток слез. Он плакал, когда его “обижала” маленькая сестра, плакал, когда кто-нибудь не соглашался признать его любимой куклы – какого-то безносого гусара – великолепною,

плакал каждый день, достаточно красноречиво доказывая этим свою болезненную чувствительность. Эта же чувствительность, как результат физической дряблости, обусловливала и смешную, совершенно беспричинную трусость. Так, например, он до смерти боялся маленькой рыженькой собачонки Дурочки, безвреднейшего в мире существа, которое отличалось, однако, ярым задором. Лежит, бывало, Дурочка на своем месте, на мягком кресле, – входит маленький Писарев в комнату, долго вглядывается в собаку, и заметив, что та спит, крадется на цыпочках, чтобы не разбудить своего врага; но один неосторожный шаг – собачонка просыпается и с тем большим задором лает и кидается на ребенка, чем тише тот старается пройти; мальчик плачет и кричит от испуга. В таких случаях в ход событий вмешивался обыкновенно отец. Считая воспитание делом женским, он предоставил его исключительно жене, сохраняя, однако, за собой верховный надзор. Этот верховный надзор ограничивался, впрочем, преимущественно наказаниями, и зачастую в старинном барском доме раздавался умоляющий голос маленького Писарева: “Папа, секи, секи, только не больно!”

Секли, главным образом, за плаксивость, так как по части почтительности и повиновения Писарев смело мог быть поставлен в пример всем своим сверстникам. Читает он, например, историйку из детской книги под заглавием “L'enfant raisonneur”,[5] где рассказывается об испорченном мальчике, который на все приказания взрослых отвечал вопросами “зачем” да “почему” и – о ужас! – позволял себе вдаваться в самые неподходящие рассуждения. Писарев, пораженный уже самым заглавием, окончательно встал в тупик и долго приставал к матери с расспросами: “Mais, maman, est-ce qu'il y a de tels enfants, est-ce qu'on peut ne pas obéir, quand maman et papa ordonnent quelque chose?”.[6] До каких вообще “Геркулесовых столбов” доходило его послушание, можно судить по следующим примерам. Ребенку было не более 4-х лет в то время, когда мать повезла его в гости к каким-то родственникам. Мальчика стали ласкать и первым делом дали кусочек конфеты и ложку варенья в рот. Что было тут делать? Матери в комнате не случилось, а съесть что-нибудь сладкое без ее позволения Писарев считал совершенно невозможным; но, с другой стороны, лакомство предлагала “ma tante” и выказать явное непослушание такому крупному авторитету тоже не приходилось. Писарев избрал средний путь: взял что давали, но продержал варенье во рту до прихода матери, не решившись проглотить его иначе, как с разрешения “начальства”.

Много подобных эпизодов из детских и отроческих лет Писарева рассказывают его близкие, но мы не будем на них останавливаться, хотя отметить эту черту воспитания не только не мешает, но и прямо необходимо.

В воспитании этом, однако, несмотря на все его странности, несмотря на то, что велось оно наугад и лишало ребенка всей его самостоятельности, было немало и хорошего. Прежде всего из Писарева сделали, как выражается его сестра, “воплощенную правду и искренность”. От матери у него не было ничего тайного, не было той мысли и чувства, которыми, раз осознав их, он не спешил бы поделиться с нею с полной откровенностью.

Впрочем, эта его общительность проявлялась не по отношению к одной только матери, но с нею он охотнее всего делился своими впечатлениями. Правдивость его – равно как и послушание – доходила до крайних пределов возможного: он не только сам никогда не лгал словами или действиями, но его глубоко возмущала всякая неправда в других, если он успевал заметить ее. Встречаясь иногда с какой-нибудь самой незначительной ложью, он широко раскрывал глаза и спрашивал: “Mais comment donc, maman, mais est-ce que cela est possible?…” (Но как же, мама? Разве это возможно?) Очень строг был он и к самому себе. Однажды – ему было только девять лет – его повезли говеть в монастырь. К исповеди он готовился с величайшим благоговением, был сосредоточен и молчалив целый день, боясь впасть в какой-либо грех. Он ужасно боялся забыть какой-нибудь из своих “дурных поступков”, припоминал с матерью все, что казалось ему нехорошим, но каков же был его ужас, когда, вернувшись от священника, он вспомнил, что на душе его остался тяжкий грех: забыл сказать, что два раза солгал: раз – пропустивши в немецкой книге, которую читал, несколько скучных страниц, воспользовавшись тем счастливым обстоятельством, что гувернантка его Эмилия Францевна сладко задремала, в другой – скрывши, что сломал игрушку, которую спустил украдкой под пол между щелями половиц. Забывчивость, которая показалась ему ложью, так долго мучила мальчика, что матери лишь с трудом удалось успокоить его. Эта черта характера Писарева осталась у него на всю жизнь.

Не менее важно и то, что воспитание развило в нем значительную дозу самоуверенности. Это – недостаток, скажут, пожалуй, строгие моралисты. Это – достоинство, скажу я, и достоинство, которое нужно ценить на вес золота, так как чего же стоит человек, который сомневается в каждом чувстве своем, в каждой мысли, в каждом впечатлении? Ровно ничего он не стоит. Разумеется, нельзя доводить такой точки зрения до крайности; но ведь это предполагается всегда, когда говорят о свойствах человеческой

души. Вера в себя необходима для деятельности, иначе все будет вываливаться из рук, и ни одна мысль не дойдет до конца, испуганная своей собственной смелостью. Запасшись этим прекрасным качеством, Писарев избегал многих страданий и сберег много сил. Не пришлось ему восклицать с мучительной злобой в душе:

Ах, ты, страсть роковая, бесплодная,
Отвяжись, не тумань головы.

Не пришлось испытать и горьких минут застенчивости и самоотрицания…

Приведу, однако, несколько фактов. “Единственный сын-наследник”, Писарев в детстве сосредоточивал на себе все внимание и заботы взрослых: любовались им многочисленные дяди, не менее многочисленные тетки и всякие родственники и родственницы, наезжавшие гостить в просторный знаменский дом, баловала и любила его без памяти бабушка, обожала прислуга, боготворила с каким-то страстным увлечением, с ревнивой исключительностью совершенно влюбленная в него мать. Писарев был центральным светилом знаменского мира, и приезжий, коротко знакомый с порядками в доме, мог легко заключить по выражению лица выбегавших ему навстречу слуг, здоров или болен малютка. Ребенок и сам так привык видеть, что каждое его слово, каждое его движение замечается, что недостаток внимания к нему задевал его за живое и оскорблял детское самолюбие. Приехал раз в Знаменское гость из церемонных, – кажется, елецкий предводитель дворянства; Писарева в гостиной не было, он вошел в комнату, когда уже завязался живой разговор между гостями и хозяевами, и крайне удивился, что его появление не произвело обыкновенного впечатления: никто не обратился к нему с приветствием, его даже не заметили, хотя, по настоянию пожилой няни Феоны, он не преминул шаркнуть ножкой и произнести “бонжур”, и – еще большая обида! – он мнил себя особенно интересным, потому что облачился в только что сшитый сюртучок и штанишки и охорашивался с большим самодовольством. И каково же было его разочарование: вошел, поклонился – и никого не поразил… Сел он за свой столик, поиграл несколько минут, но, видно, обида заговорила сильнее: не вытерпел, подошел к гостю и пресерьезно спросил: “Отчего вы меня не замечаете и не разговариваете? Все всегда говорят со мной!”…

Писарев твердо был убежден, что все – особенно мать – к каждому его

слову, к каждому чувству отнесутся внимательно и любовно. Он никогда не слыхал этих глупых: “отстань, мне некогда”, “вырастешь – узнаешь” и т. д. Его детская исключительная любознательность удовлетворялась по мере своего появления. Он видел, что все находят величайшее удовольствие в его обществе– это льстило его самолюбию, это заставляло ценить себя.

В общем – счастливое детство. Писарев жил в тепле и холе, среди ласки и любви. Он долго не видал тех мрачных и суровых сторон действительности, которые испортили детство и юность других наших публицистов и писателей. Хотя вскоре состояние Писаревых пошатнулось, но до нищеты было еще далеко, и Писарев вышел в жизнь точно из теплицы – изящный, гордый, самоуверенный…

*

В эти детские, а впоследствии и юношеские, годы отношения с матерью, как видит читатель, стоят на первом плане. Мать приучила Писарева к полной и безусловной откровенности, она любила его с тою страстностью, тем увлечением, которые требовали, чтобы сын принадлежал ей целиком, безраздельно, чтобы он делился с нею каждым своим помыслом. Такая любовь недалека от ревности и того особенного вида деспотизма, которому лучшее название – материнский. И мать впоследствии действительно ревновала Писарева ко всякой женщине, которая становилась между ними, – она глубоко страдала от каждого самостоятельного верования и каждой самостоятельной мысли, появлявшихся в голове сына. Ей хотелось, чтобы Писарев на всю жизнь остался тем милым покорным мальчиком, каким он был в детстве, чтобы лишь возле нее изливал он свои страдания и лишь с ней одной делил все радости. Это – известная ошибка излишней любви – ошибка, вызывающая столько мук и разочарований в семейной жизни. Мы увидим их после, но мне бы хотелось уже в настоящую минуту подготовить к ним читателя и указать на их грустную необходимость.

“Многие черты моего характера, – писал впоследствии Писарев своей матери, – огорчали других людей, но не потому, что эти черты наносили им большой убыток, а потому, что они желали, чтобы я был не такой человек, а другой. Эти люди были не правы, и к числу их принадлежала и ты. Не правы они были потому, что хотели невозможного. Каков есть человек, таков и есть, и другим он не будет и быть не может. Пока ты желала переделать меня, я стоял в оборонительном положении, потому что мне,

как и всякому другому человеку, чрезвычайно дорога неприкосновенность и самостоятельность характера. Человек защищает ее, как свою жизнь, совершенно инстинктивно, когда даже не понимает, что такое самостоятельность и неприкосновенность. На этом основании вечная борьба между воспитателями и детьми. Воспитатели обыкновенно хотят сделать слишком много, и это им не удается, и в эту ошибку впадают именно самые усердные и умные воспитатели, к числу которых принадлежишь и ты. Ошибка эта, впрочем, не приносит нисколько вреда; жаль только, что воспитателю она доставляет много хлопот и даже огорчений: она ведет обыкновенно к тому, что между воспитателем и воспитанником, переходящим уже в мужской возраст, поселяется на время холодность и натянутость отношений. Но как только воспитатель мирится с характером воспитанника как с существующим фактом, тотчас же исчезает всякая холодность и начинается прежнее дружелюбие. Вот самый простой очерк наших отношений с тобой; вот почему между нами было что-то неладно и вот почему мы теперь большие друзья с тобой и с каждым годом будем дружиться все сильнее”. (1863 г.)

# ГЛАВА II

Гимназические годы. – Писарев в Петербурге. – Votre fils tendre et respectueux. Enfant d'une bonne maison. – Взгляд Писарева на гимназическое образование. – Любовь

Когда Писареву минуло 11 лет, было решено на семейном совете везти его в Петербург, в гимназию. Тяжело было матери расставаться со своим ненаглядным сокровищем, неразлучным с ней с самого дня рождения; но его польза стояла на первом плане, а отец заметил со свойственной ему добродушной резкостью выражений: не свиней же ему с кнутом пасти в деревне. Доставить мальчика в Петербург и сдать его с рук на руки лучшему другу и родственнице г-жи Писаревой взялся один из дядей, брат его отца, который от души любил племянника, гордился его успехами и возлагал огромные надежды на его будущую карьеру, предсказывая родителям, что он будет министром или посланником. Трудно сказать, с какой стороны и в каком отношении Писарев мог подавать повод родителям и близким людям прочить его в дипломаты, только для “хрустальной коробочки” мечтали именно об этой карьере.

Зная скромные средства родителей Писарева, один из его богатых дядей вызвался платить за него в гимназию и впоследствии в университет с тем, что со временем, когда молодой человек станет на ноги и выйдет на дорогу, он возвратит ему истраченное. Это обязательство выполнялось свято до тех пор, пока Д.И. Писарев, этот образец повиновения и всяческих добродетелей, насажденных в его сердце домашним воспитанием, оказался отщепенцем и разрушил розовые надежды на карьеру, объявив категорически, что хочет жениться на своей двоюродной сестре, не хочет быть ни министром, ни дипломатом, а лишь сотрудником журналов…

6 декабря 1851 года Писарев выехал из родного гнезда, напутствуемый слезами, наставлениями, горячими молитвами и тетрадками французских и немецких слов, которые ему вменялось в непременнейшую обязанность повторять, чтобы не забыть языки.

Расставаясь с родным гнездом, Писарев горько плакал – и этими слезами начались его гимназические годы. Enfant d'une bonne maison, enfant bien élevé, votre fils tendre et respectueux,[7] – словом, тот самый Писарев, которого мы видели под кровлею родительского дома, не сходит со сцены еще несколько лет. Весь гимназический курс не вызвал в нем ни одной новой мысли, ни одного нового душевного движения. Таково мнение

самого Писарева, с таким неподражаемым юмором высказанное им в следующих строках:

> “Итак, я – студент. Позади меня в близком прошедшем лежит побежденная груда личных врагов моих, груда тех учебников, которых сумма в совокупности называется гимназическим курсом. Над этой хаотической грудой поверженных и бессильных противников, как символ примирения и прощения, сияет кротким и умилительным блеском первая серебряная медаль с изображением богини мудрости и с многозначительной надписью “преуспевающему”. Внешние результаты моего пребывания в гимназии оказываются блистательными; внутренние результаты поражают неприготовленного наблюдателя обилием и разнообразием собранных сведений: логарифмы и конусы, усеченные пирамиды и неусеченные параллелепипеды перекрещиваются с гекзаметрами Одиссеи и асклепиадовскими размерами Горация; рычаги всех трех родов, ареометры, динамометры, гальванические батареи приходят в столкновение с Навуходоносором, Митридатом, Готфридом Бульонским и нескончаемыми рядами цифр, составляющих неизбежное хронологическое украшение слишком известных исторических учебников Смарагдова, Зуева и Устрялова. А города, а реки, а горные вершины, а германский союз, а неправильные греческие глаголы, а удельная система, а генеалогия Ивана Калиты! И при всем том мне только 16 лет, и я все это превозмог, и превозмог единственно только по милости той драгоценной способности, которою обильно одарены гимназисты. Той же самой способностью одарены, вероятно, и в той же степени кадеты и семинаристы, лицеисты и правоведы, да и вообще все обучающееся юношество нашего отечества. Эта благодатная сила не что иное, как колоссальная сила забвения. Юношество понимает, что эта магическая сила представляет для него единственное средство спасения; только при помощи ее оно, выдержавши свои многочисленные экзамены, навсегда очищает свою голову от переполняющих и засоряющих ее ингредиентов”.

Это случилось и с самим Писаревым. Быстро пришлось ему выбросить из головы все синусы и косинусы, всех Навуходоносоров и Аннибалов, и если он несколько резко отзывается о гимназическом курсе,

то, как ниже увидит читатель, он имел на то свои основательные причины. Прежде всего, отмечает он чисто механическую систему усвоения и говорит:

> “Во время учебного года гимназист удерживает зараз в своей голове только тот маленький кусочек каждой учебной книги, который учитель в ближайший класс может потребовать к осмотру; в одно время в его мозгу живут независимо друг от друга кусочки разных предметов; так как ни один предмет не вмещается в мозгу в своей целости, то эти кусочки живут и шевелятся сами по себе без всякой связи с целым, так точно, как живут и шевелятся сами по себе куски разрезанного земляного червя. Когда наступает пора экзаменов, тактика немедленно переменяется: эйн, цвей, дрей, куски разрезанного червяка сбегаются и срастаются в надлежащем порядке. Начинается церемониальный марш червяков через мозги гимназистов, по порядку, назначенному в расписании экзаменов, проходят предметы один за другим, и сам гимназист испытывает ряд изумительнейших превращений: сегодня он Архимед, через три дня – Цицерон, через неделю – Гомер”.

Быть Архимедом, Цицероном, а через неделю Гомером – вещь, разумеется, “приятная во всех отношениях”, но каковы свойства такого Архимеда? Для определения их Писарев предлагает “верное средство”:

“Положим, – говорит он, – что сегодня, 21-го мая, экзамен из географии происходит блистательно. Проходит два дня, 24-го числа те же воспитанники приходят экзаменоваться из латинского языка. Пусть тогда объявят юношам, что экзамена из латинского языка не будет, а повторится уже выдержанный экзамен из географии. Вы посмотрите, что это будет. По рядам распространится панический страх: будущие друзья науки увидят ясно, что они попали в засаду; начнется такое избиение младенцев, какого не было со времени неистового царя Ирода; кто 21-го мая получил 5 баллов, примирится на трех, а кто довольствовался тремя баллами, тот не скажет ни одного путного слова”…

Если Писарев отзывается так резко, если во всем гимназическом курсе он не хочет видеть решительно ничего хорошего, то виновато, быть может, в этом то обстоятельство, что во время написания статьи знаменитому публицисту был так же смешон гимназический курс, как и он сам, его собственная личность в период гимназических лет. Кем и чем был он

тогда? “Enfant bien élevé”, “enfant d'une bonne maison” – ни больше ни меньше. Он сам откровенно сознается в этом:

> “Наша учащаяся молодежь распадается на две резко обозначенные категории: направо идут овцы, неспособные краснеть; налево – козлища, весьма способные краснеть, нюнить и лениться. Первые спокойно и радостно тупеют, вторые злятся и кусают ногти. Из первых выходят примерные чиновники, из вторых – широкие натуры, а иногда и даровитые деятели… Я принадлежал в гимназии к разряду овец; я не злился и не умничал, уроки зубрил твердо, на экзамене отвечал красноречиво и почтительно, и в награду за все эти несомненные достоинства быть признан преуспевающим… Хотя я и до сих пор не сообщил фактических подробностей о моем развитии, но я осмеливаюсь думать, что из всего того, что я наговорил, проницательный читатель уже составил себе приблизительное и притом довольно верное понятие о том, что я смыслил при поступлении моем в университет; скажу я ему еще, что любимым занятием моим было раскрашивание картинок в иллюстрированных изданиях, а любимым чтением – романы Купера и особенно очаровательного Дюма. Пробовал я читать историю Англии Маколея, но чтение и подвигалось туго, и казалось мне подвигом, требующим сильного напряжения умственных сил… На критические статьи журналов я смотрел как на кодекс иероглифических надписей, прилагавшихся к книжке исключительно по заведенной привычке, для вида и для счета листов; я был твердо убежден, что этих статей никто понимать не может и что природе человека совершенно несвойственно находить в чтении их малейшее удовольствие. Я должен признаться, что в отношении к некоторым журналам я даже до сего дня не исцелился от этого спасительного заблуждения… Начал я также, будучи учеником седьмого класса, читать “Холодный дом”, один из великолепнейших романов Диккенса, и не дочитал: длинно так и много лиц, и ничего не сообразишь, и шутит так, что ничего не поймешь; так на том и оставил, порешив, что “Les trois mousquetaires”[8] не в пример занимательнее. Ну, а русские писатели – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов? Читатель, мне стыдно за моих домашних воспитателей, стыдно и за себя: зачем я их слушал. Русских писателей я знал только по именам.

> “Евгений Онегин” и “Герой нашего времени” считались произведениями безнравственными, а Гоголь – писателем сальным и в приличном обществе совершенно неуместным. Тургенев допускался, но, конечно, я понимал его так же хорошо, как понимал геометрию, Маколея и Диккенса. “Записки охотника” ласкали как-то мой слух, но остановиться и задуматься над впечатлением было для меня немыслимо. Словом, я шел путем самого благовоспитанного юноши”.

Писарев верно нарисовал свой портрет: во время гимназического курса он выделялся лишь своими блестящими способностями и удивительной покорностью: из него смело можно было веревки вить, до того почтительно привык он относиться ко всякому авторитету или, прямо говоря, – начальству. Его заставляли изучать латинскую грамматику – он изучал ее, заставляли маршировать – он маршировал. Память и способность делали ученье очень легким и помогали получать пятерки на каждом шагу. Писарев этими пятерками очень гордился и чуть ли не о каждой из них сообщал в письмах своей матери. Возле этих пятерок сосредоточивалось в это время все его тщеславие: он носился с ними, как носится ребенок со своими игрушками, и кто бы мог предвидеть, что придет день, и почтительный ученик 7-го класса, не понимающий даже Диккенса, станет во главе освободительного движения русской мысли?…

На письмах Писарева этого времени (1850–1856) останавливаться не приходится. Если в них и есть что-нибудь замечательное, то никак не содержание, а лишь форма. Положительно можно залюбоваться, как 14-15-летний мальчик изящно отделывает каждую свою фразу, с какой легкостью и плавностью рассказывает он о виденном и слышанном, как умело обращается он со словом – русским или французским, безразлично, – отыскивая всегда самое подходящее. Пишет и говорит он, по-видимому, с большим удовольствием, ему совсем не надо принуждать себя: перо само бежит по бумаге, само знает, что надо написать. Заметим еще, что за это время Писарев все чаще обращается к русскому языку, сплошных “французских” писем уже нет. Форма, повторяю, блестящая, но содержание совершенно отсутствует. Все сводится к маленьким эпизодам гимназической жизни. Чтобы показать всю поразительную невинность 15– и 16-летнего Д. И. Писарева, приведу из кипы писем, относящихся к 55-му и 56-му годам, несколько отрывков:

> “Depuis plus d'une semaine je suis sujet fidèle d'Alexandre II, car

> Lundi dernier j'ai prêté serment de fidélité a notre Empereur, à l'église du gymnase. Cela m'a donné un petit sentiment d'orgueil que moi aussi je suisen âge de faire un acte aussi sérieux et de contracter un engagement aussi solennel”.[9]

Это трогательно и даже торжественно! В следующем письме Писарев сообщает своему отцу новость, которая очень заинтересовала его самого: “Военным переменили форму; вместо мундиров дали им казакины, полы короткие в 7 вершков, воротник у них будет разрезной. Я уже видел Вонляревского в этой форме; это очень красиво. Генералам же новая форма: вместо лосин и ботфорт у них красные брюки с золотыми лампасами, а на каске султан из перьев вместо волос”. Дальше Писарев переходит к своим собственным делам. “Будете ли вы катать яйца в этом году? – спрашивает он родителей. – Верно, будете! И вы также? Не правда ли, mon cher oncle? Желал бы я провести с вами эту неделю. То-то веселье-то… Я страшно люблю катать яйца… Вчера мы уже несколько раз катали…”

Перед вами, словом, настоящий ребенок, несмотря на свои 16 лет.

Подобных цитат из писем Писарева можно бы сделать десятки, но я не вижу в этом особенной надобности. Читатель понял, надеюсь, с каким благовоспитанным мальчиком имеет он дело. Мальчик изучает латинскую грамматику, мальчик марширует, он очень доволен собой и всем окружающим. Живется ему как нельзя более спокойно: в доме родственников относятся к нему внимательно и ласково, мать издали в каждом письме пишет ему свое благословение.

Каждое лето на каникулы Писарев уезжал к себе домой, в Грунец.[10] Его тянет туда, тянет не только привязанность к матери, не только желание погулять и порезвиться на свежем воздухе, но и любовь к кузине Раисе. За всеми перипетиями этой любви, начавшейся еще в детстве, тлевшей в период гимназических годов под грудой благонамеренности и вокабул всех языков – и ярко разгоревшейся в юности, – нам придется следить довольно внимательно. Можно прямо утверждать, что эта любовь сыграла в жизни Писарева громадную роль и была, если можно так выразиться, определяющим моментом в развитии его миросозерцания. Она первая заставила его сделать громадную брешь в почтительности и привычке во всем полагаться на старших; первая поставила Писарева, его личное чувство, его личную страсть в противодействие с окружающей обстановкой и всевозможными авторитетами – отца, матери, дяди. Опираясь на свою любовь и действуя во имя своего “я”, Писарев впервые, и притом самым

резким, положительным образом, формулировал свою теорию эгоизма и право каждого на самостоятельное счастье, которому другие могут сочувствовать или не сочувствовать, но вмешиваться в него, предъявлять ему свои требования – не смеют. Повторяю, если не придавать значения этой любви к Раисе, то метаморфоза Писарева из невинного агнца в человека с резко определенной и ярко выраженной индивидуальностью навсегда должна остаться в большей или меньшей степени непонятной. Не только любовь, разумеется, но во многом повинна и она.

Нам придется вернуться ненадолго к детским годам Писарева. Ему только что минуло 9 лет, когда на семейном совете было решено, что отец и мать возьмут к себе в дом на воспитание девятилетнюю кузину его Раису, у которой некоторое время тому назад умерла мать. Через несколько дней дети были неразлучны, и маленький Писарев пришел в восторг, когда ему объявили, что Раиса тоже поедет в Грунец и будет там жить и учиться вместе с ним.

“Между двоюродным братом и сестрой, – рассказывает В.И. Писарева, – в скором времени сложились странные отношения, совершенно, впрочем, логично вытекавшие из характеров того и другого и из тех личных особенностей, которые развили в них жизнь и воспитание. Раиса увидела рано лицом к лицу жизнь со всеми ее серыми, неприглядными сторонами. С первых детских лет судьба бросала ее в дома разных родственников, из которых каждый проделывал с ней “кто во что горазд”; так, одни подвергали ее воспитательным экспериментам собственного изобретения, между тем как другие предоставляли ребенка на произвол судьбы, ни в чем ему не перечили и имели в виду только физическое воспитание… Поэтому Раиса умела понимать людей, с которыми ее сталкивала судьба, сразу, на лету, с поразительной быстротой взгляда схватывать сущность обстановки, в которую попадала, и, не взявши ни одной фальшивой ноты, сразу же прилаживаться к ней. И это несмотря на 9-летний возраст. Специально женские инстинкты были в ней сильно развиты: она желала нравиться, была кокетлива, и воображение ее было сильно развито чтением всевозможных, для детского возраста неподходящих, романов”.

Такова дама сердца маленького Писарева. Как рыцарь и кавалер, он оказался очень настойчив в своем ухаживании, несколько, впрочем, неуклюж, и быстро приобрел симпатии кузины. Он учился вместе с ней, и хотя для Раисы едва ли был особенно приятен переход от полной свободы к весьма выдержанному образу жизни, а от чтения всевозможных и даже прямо невозможных романов – к изучению вокабул французских и немецких и ко всякого рода развивающим и укрепляющим память

диалогам, но она примирилась со своею участью и недурно устроилась возле своего навеки преданного ей рыцаря, которого, разумеется, совершенно забрала в свои хорошенькие, маленькие ручки. Тот помогал ей в уроках, объяснял, по мере сил, что ей было непонятно, никогда при этом не задевая ее самолюбия.

Так началась любовь, трагическое окончание которой нам скоро придется увидеть.

# ГЛАВА III

“Наша университетская наука”. – Мытарства в области филологии и истории. – Кружок. – Дружба с Трескиным – Чистая наука. – Начало кризиса. – Семейный раздор

Шестнадцатилетним розовым юношей Писарев в 1856 году поступил в С.-Петербургский университет, чтобы стать филологом. Для избрания филологии как специальности были многие основательные причины. Описав свое невинное и близкое к блаженству состояние духа в период прохождения гимназического курса, Писарев продолжает: “Что-то манило меня в университет; в словах “студент, профессор, аудитория, лекция” заключалась для меня какая-то необъяснимая прелесть; что-то свободное, молодое, умное чуялось мне в студенческой жизни; мне хотелось не кутежей, не шалостей, а каких-то неиспытанных ощущений, какой-то деятельности, каких-то стремлений, которым я не мог дать тогда ни имени, ни определения, но на которые непременно рассчитывал наткнуться в стенах университета…”

От шестнадцатилетнего мальчика, разумеется, нельзя было и ожидать чего-нибудь более определенного, к тому же возле него не было никого, кто бы растолковал ему, что надо делать. Сам же он, любя неведомый университетский мир в совокупности, не чувствовал никакого особенного влечения к тому или другому кругу наук. Поэтому Писарев, полюбовавшись на синеву воротника и на блеск золоченого эфеса шпаги, выбрал факультет наугад.

“По математическому, – писал он, – не пойду, потому что математику ненавижу и в жизни своей не возьму больше ни одного математического сочинения в руки; по естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики, да и физика почти то же самое, что математика; юридический факультет сух (это решение может показаться довольно отважным, тем более что я тогда еще в глаза не видал ни одного юридического сочинения, – но я уже заметил прежде, что мы мыслим афоризмами, так отучилось и со мною); в камеральном факультете нет никакой основательности. (Вот вам еще афоризм, который ничуть не хуже предыдущего). Управившись, таким образом, с четырьмя факультетами, я увидал, что передо мной остаются в ожидании только два: историко-филологический и восточный… Разве на восточный? Поехать при посольстве в Персию или Турцию… жениться на азиатской красавице?…

Это, впрочем, пустяки… А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой… Ну, и Бог с ним! Значит – на филологический”.

На том Писарев и закончил свои размышления.

В атмосфере филологического факультета он быстро проникся научным духом. Вначале, впрочем, он чувствовал себя очень неловко в обществе своих же товарищей-студентов. Тут он впервые услышал такие вещи, которые заставили его задуматься. Говорили об исторической критике, об объективном творчестве, об основе мифов, об отражении идей в языке, о гриммовском методе, о миросозерцании народных песен; ухитрялись даже спорить и, к ужасу Писарева, рассуждали о тех критических и ученых статьях в журналах, которые были ему недоступны, как полярные льды. “Я, – рассказывает Писарев, – только моргал глазами и даже не пытался скрыть того, как глубоко удручает меня сознание моего внутреннего безгласия”.

Итак, надо было учиться, чтобы понять эти мудрые термины, эти таинственные вопросы. Но как учиться? Прежде чем окончательно выбрать свой путь, Писареву пришлось претерпеть чуть ли не сорок мытарств, из которых о наиважнейших мы упомянем:

Мытарство 1-е. Сблизившись со студентами, профессор Креозотов (Касторский)[11] предложил им однажды предпринять общую работу. Мечтавший о строго научной деятельности Писарев навострил уши. Предложение Креозотова состояло в том, чтобы общими силами перевести с греческого географическое сочинение Страбона. Предложение было принято, и каждый желающий получил по пять печатных листов довольно мелкого греческого текста. “Я, – говорит Писарев, – ревностно начал переводить и потому могу объяснить читателю, что это была за работа. Представьте себе, что какой-нибудь господин раскрыл перед вами атлас, взял в руку указку и, водя ею взад и вперед по карте, рассказывает вам, что вот это мыс А, а в двух верстах от него залив В… и все в том же роде. И таких прогулок по атласу набирается листов до сорока, а мне предстояло перевести 5, – т. е. 80 страниц. Читатель понимает, конечно, как сильно такая работа могла обогатить ум и как важно было для русской публики получить издание Страбона в русском переводе… Дело, как и следовало ожидать, расклеилось. Креозотов собрал растерзанные части своего Страбона”.

Мытарство 2-е. Изучение кельтской поэзии. Впрочем, о судьбе этого изучения мы ровно ничего не знаем; сам Писарев лишь вскользь упоминает о нем в письме к матери от 1857 года, и, надо думать, кельтскую поэзию

постигла участь перевода Страбона.

Мытарство 3-е. Еще не разделавшись со Страбоном, Писарев вздумал обратиться к тому же Креозотову за советом по части строго научных занятий. Краснея от волнения, он “покаялся” ему, что желает специально заняться историей, и убедительно просил его объяснить, как надо поступать в таком затруднительном случае. Выслушав исповедь юноши, Креозотов немедленно посоветовал ему читать энциклопедию Эрша и Грубера и, кроме того, источники древней истории – Геродота, Фукидида и пр. Но – увы! – злой рок преследовал Писарева. Взявши в библиотеке первый том энциклопедии, он увидел, что даже буква А далеко не исчерпывается этим томом, который, однако, оттягивал ему руки. Рассчитав, что Эрша и Грубера пришлось бы читать лет десять, Писарев предпочел не тревожить больше ни одного из фолиантов. Так же поступил он и с Геродотом.

А между тем научный дух не укрощался. Было задето и самолюбие. Трое или четверо из близких товарищей Писарева уже отмежевали себе ту или другую науку для специальных занятий; другие говорили, что не остановились в выборе, но что вот они читают то-то и то-то и при этом размышляют так-то и так-то. Письма Писарева 1857 года полны мечтами о магистерском экзамене, о кафедре. Очевидно, эта мечта не дает ему ни минуты покоя. Он даже подбадривает себя и говорит: “Я нахожусь в самом блаженном настроении духа: утром штудирую Гегеля, вечером читаю Геродота. Наконец-то познакомился я с настоящей наукой!..”

До настоящей науки было, однако, далеко. Пока он аккуратно посещает и записывает лекции. Особенно интересовали его лекции профессора Телицына (Сухомлинова),[12] читавшего теорию языка и историю древней русской словесности.

“В этих лекциях, – говорит Писарев, – было действительно много хорошего. Телицыну было лет тридцать с небольшим: он любил студентов и искал между ними популярности; лекции свои он составлял с большой старательностью и всегда заканчивал их какой-нибудь фиоритурою, которая неминуемо должна была поднять в душе студентов целую бурю добрых и возвышенных чувств… Я увлекался в одно и то же время и чувством массы, и своею личною потребностью найти себе учителя, за которым я мог бы следовать с верой и любовью. Мысли о занятиях историей замерли во мне благодаря советам Креозотова. В этих мыслях никогда не было ничего серьезного, и я думал приняться за историю только потому, что история – самая яркая наука нашего факультета; она первая бросается в глаза, и я схватился за нее, как ребенок хватается за пламя

свечи… Теперь же, когда я всем сердцем возлюбил Телицына, теперь, когда он гальванизировал меня и товарищей моих лукавыми хвостиками своих лекций, теперь, когда в душе моей зародилось неудержимое желание посвятить себя – чему, зачем? – ну, все равно – чему бы то ни было, а только посвятить себя, – наука, истина, свет, деятельность, прогресс, развитие так и кувыркались у меня в голове, и это кувыркание казалось мне ужасно плодотворным, хотя из него ничего не выходило, да и выйти ничего не могло. Хочу служить науке, хочу быть полезным, возьмите мою жизнь и сделайте из нее что-нибудь полезное для науки. Восторгу было много, смыслу мало…”

Мытарство 4-е. Последняя лекция Телицына перед святками 1856 года была ознаменована многозначительным событием. Обожаемый профессор сказал своим слушателям, что для пользы науки и для назидания студентов следует перевести несколько умных исследований и рассуждений. На долю Писарева досталась “зловещая брошюра Штейнталя”… Он мысленно перекрестился и протянул к ней руку. Брошюра трактовала о “языкознании Вильгельма Гумбольдта и философии Гегеля”, и когда Писарев приступил к чтению, то у него с первых же строк закружилась голова. Он не понимал ни одной фразы и, видя себя окончательно погибшим, решился не читать, а прямо переводить, причем, к его собственному изумлению и “независимо от его воли”, являлся какой-то общий смысл, точно так же, как в чтении чичиковского Петрушки из отдельных букв всегда составлялось какое-нибудь слово, которое иногда и черт знает что значило.

Писарев довел работу до конца, но конец мытарств был еще очень далек. Однажды тот же Телицын сообщил ему, что недавно вышла в свет подробная биография В. Гумбольдта, написанная Гаймом, и что было бы хорошо, если бы он по этой книге написал статью. Писарев взялся и за это, и знаете, сколько времени, притом самого упорного труда, потратил он на биографию В. Гумбольдта, которая, очевидно, была совершенно не нужна ему – целых 16 месяцев!..

Легко было почувствовать после таких мытарств и испытаний самое искреннее отвращение ко всякого рода принудительной работе, тем более, что эта работа была действительно принудительная, так как сам Писарев, совершенно недоумевая, что ему делать и как осуществить свои восторженные мечты, – подчинялся каждому совету с той почтительностью, тем же отсутствием скептицизма, которые характеризуют его детские и гимназические годы.

Но всему есть предел.

“Еще две-три такие победы, – говорил Пирр, – и мне придется бежать

из Италии”… “Еще две-три такие работы – и мне придется сойти с ума”, – мог сказать Писарев.

*

Действуя наперекор своей природе и проводя целые месяцы за тяжелой и утомительной работой, Писарев, очевидно, должен был находиться под чьим-нибудь влиянием. Это и было на самом деле. С одной стороны, впечатления детства внушали ему мысль о необходимости беспрекословного повиновения старшим, с другой, – красноречивые фиоритуры Телицына оказывали свое непременное воздействие на юную душу, но все же на первый план надо поставить влияние товарищеского кружка и особенно студента Трескина. “Мы, – рассказывает Писарев о членах своего кружка, – называли себя людьми мысли, хотя, конечно, не имели ни малейшего права называть себя так. Новые студенты могли называть Добролюбова своим учителем, но мы относились к Добролюбову и “Современнику” вообще с высокомерием, свойственным нашей касте. Мы их не читали и гордились этим, говоря, что и читать не стоит”…

Словом, перед нами кружок из восьми жрецов чистой науки. Писарев примкнул к нему в зиму 1857 года, т. е. на втором уже курсе, и всем своим существом отдался его жизни и интересам. Из всех восьми он был самый младший и годами, и жизнью; всякому более или менее приходилось сталкиваться с суровыми сторонами действительности, и только Писарев вошел в кружок розовым птенцом прямо из-под крыла мамаши и тетки. Смелые, восторженные, хотя весьма неопределенные речи новых товарищей, их юный, весьма незрелый скептицизм, не выходивший из сферы религиозных вопросов, сначала ошеломили Писарева, но вскоре увлекли его неотразимым обаянием чего-то молодого, живого, свежего, – чего он ждал когда-то в своих гимназических мечтаниях о таинственной студенческой жизни.

И действительно, нельзя не отдавать справедливости кружку, с которым Писарева свели обстоятельства; все его члены, как на подбор, были люди честные, чистые и даже – в большей или меньшей степени – даровитые. Но, несмотря на все эти благоприятные условия, этот кружок, при всех своих светлых сторонах, принес долю вреда каждому из своих членов. Молодежь не только тесно сомкнулась между собой, но и замкнулась в узкую жизнь своего кружка, совершенно оторвавшись от окружающей общей жизни и глядя даже на нее с некоторым высокомерным

презрением. Это были – или только воображали, что были – вдохновенные поэты, рожденные не для житейского волненья, не для корысти, не для битв… С вдохновенным видом, сверкающими глазами и пылающим лицом молодые люди произносили пламенные речи о том, что надо посвятить свою жизнь науке, надо отдаться всецело чистому знанию, надо отказаться во имя святого призвания от всех житейских благ и наслаждений, – словом, молодые жрецы науки жаждали зарыться в фолианты, поселиться на различных петербургских чердаках и предаться священнодействию. На знамени кружка крупными буквами было написано:

**“Подвижничество! ”**

Любопытную и поучительную историю образования кружка мы находим в воспоминаниях А. М. Скабичевского о Писареве. А. М. Скабичевский начинает свою “историю” издалека, еще с гимназических времен:

“В Ларинской гимназии, – рассказывает он, – был некогда преподаватель русского языка Николай Павлович Корелкин. Человек энергический, живой, горячий, он был своего рода светилом среди гимназических преподавателей своего времени, и воспитанники, на которых он производил самое обаятельное влияние, никогда его не забудут. Поклонник Гегеля и Белинского, почитатель Гоголя, он был слишком живой человек, чтобы вносить в преподавание и пропагандировать какую-либо узкую схоластическую ученость. Воспитанники его в шестом классе уже были знакомы близко со многими произведениями русской литературы и Гоголем. О Белинском Корелкин не говорил ни слова; в то время имя это было одно из самых запрещенных в стенах гимназии, но это не мешало ему проводить идеи и взгляды Белинского на русскую литературу. В 1855 году Николай Павлович Корелкин умер, и надо сказать, что внезапная смерть его произвела на двух его воспитанников 6-го класса гораздо сильнейшее впечатление, чем все его речи и наставления. Им показалось, что мир опустел с его смертью; он сделался в их глазах предметом поклонения; каждое слово его, запечатленное в их памяти, имело в их глазах неприкосновенность святыни; они собирали и сохраняли каждый его ничтожный автограф. В то же время вся окружающая их обстановка показалась им вдвое будничнее, пошлее и грязнее со смертью этого человека, и они исполнились ожесточенного протеста против этой обстановки. Они соединились в тесную дружбу и решились в память незабвенного человека посвятить всю жизнь свою внутреннему, духовному

саморазвитию. В мечтах об этом духовном саморазвитии и прошел последний год пребывания их в 7-м классе. Все время они посвящали тому, что сходились беседовать о внутреннем саморазвитии, все более и более знакомились с русской литературой, кончая, впрочем, только Гоголем, и писали различные повести, драмы и комедии. В то же время к гимназическому начальству, со всеми его жиденькими учебниками, уроками, баллами, они относились с явным пренебрежением, выказывая это пренебрежение открытыми заявлениями презрения к их преподаванию.

По выходе из гимназии дружба двух юношей не разорвалась, а сплотилась еще крепче, несмотря на то, что они пошли по разным дорогам: один поступил в университет на филологический факультет, а другой пошел в моряки. Мало-помалу общие и неопределенные мечты о духовном саморазвитии получили более определенный характер. Корелкин, увлекая своих воспитанников Гоголем, очевидно, выбирал для чтения лучшие его произведения и совершенно умалчивал о последнем периоде его деятельности. Друзья же наши, воспринявши от своего учителя поклонение Гоголю, сами начали изучать этого писателя во всех подробностях его жизни и докопались, конечно, до “Переписки с друзьями”. При узком круге развития и темных мечтах о духовном самосовершенствовании, “Переписка с друзьями” подействовала на юношей потрясающим образом, по крайней мере, на одного из них. Весь мир представился им погрязшим в греховной, языческой суетности. Уж не говоря о всякого рода страстях и похотях, даже самые невинные развлечения, вроде курения табаку, танцев и обыденных разговоров, стали казаться вещами предосудительными, недостойными мыслящего человека и унижающими его. Мечтателям нашим казалось, что в каждую минуту вся природа человека должна быть устремлена к одному – к нравственному самосовершенствованию, к воплощению в своей особе идеала истинного христианина; каждое произнесенное слово должно было иметь высшую цель и значение, а за каждым бесполезным разговором следовали угрызения совести. Но так как подобного рода постоянное напряжение всех сил немыслимо в природе человека, то за излишними напряжениями должны были следовать истощения и падения; тогда всплывали наверх все подавляемые молодые страсти и начиналась та отчаянная борьба с демонами, которая так прекрасно характеризует средневековый аскетизм. Обуреваемый, таким образом, страстями и будучи не в силах бороться с ними, один из наших молодых аскетов (другой был более спокойного и флегматического темперамента, и демоны не смущали его так, как первого) придумал следующий выход: ему представилось, что та же самая борьба, которая так

тяжела и невыносима для человека, замкнутого в самом себе, с его одиночными силами, будет не в пример легче, когда подвижничество будут разделять несколько людей и помогать друг другу в борьбе со страстями и в нравственном самосовершенствовании; к тому же высшая цель мыслящего человека заключается не в одном личном самосовершенствовании, а в том, чтобы всех окружающих людей делать мыслящими и подымать до своего идеала. Вследствие этих соображений молодой аскет задумал основать “общество мыслящих людей”, с колоссальной целью возродить в мире христианство в его истинном, идеальном смысле. Привлек товарищей по гимназии, – и они все тотчас же увлеклись этим проектом. Общество возникло на следующих основаниях: каждую неделю должны происходить общие собрания для благочестивых разговоров и взаимной нравственной поддержки, причем члены общества должны употреблять особенные усилия для поддержки и спасения того из братьев, которому невыносимо станет бороться со страстями и он воззовет к ним о помощи; в то же время каждый член должен заботиться о распространении общества путем привлечения кого-нибудь из своих близких и знакомых на дорогу высшего, духовного саморазвития. Такого рода неофиты назывались в обществе оглашенными, и иногда эти оглашенные призывались в общие собрания для того, чтобы они поучались и утверждались на новой дороге. До какого фантастического сумасбродства и фанатизма доходили некоторые члены общества, можно видеть из следующего примера. На одном из заседаний был поднят вопрос об отношениях между мужчинами и женщинами. Женщин в этом обществе не было, но предполагалось, что с распространением общества будут в нем участвовать и женщины. Каковы же должны быть отношения между мужчинами и женщинами в духе высшего духовного саморазвития? Очевидное дело, что между мужчиной и женщиной должна быть только высшая, всеобъемлющая духовная любовь христианина к христианину, такой же нравственный союз для взаимной поддержки, как и между всеми членами общества без различия пола, а так как малейшее нечистое помышление унижает уже мысль человека, то половые влечения должны быть совершенно исключены из отношений мужчин и женщин. “Прекрасно, – возражали некоторые скептики, – но что же будет, когда общество наше вырастет до того, что примет в свои недра все человечество, и человечество, следуя принципам нашего общества, отвергнет всякую плотскую связь между мужчиною и женщиною; тогда человечество, а следовательно, и общество наше, просуществует всего 100 лет, пока не умрет последний член его и вместе с ним не вымрет все человечество”. Тогда скептикам возражали: “во-первых, пусть лучше

человечество, достигнувши высшей своей цели и назначения, вымрет в течение 100 лет, нежели оно тысячелетия будет погрязать в грехе, суетности и унижении; а во-вторых, как дерзаете вы изведать все тайны всеблагого и всесильного Провидения? В награду за такое подвижничество человечества в его власти ниспослать чудо и сделать людей бессмертными, или же, может быть, Провидение устроит, что люди будут рождаться каким-нибудь чудесным образом, помимо плотского греха". Скептикам нечего было возражать на такие доводы, и они смолкали. Вся эта история проделывалась в конце 1857 г., когда члены "общества мыслящих людей" были уже на 2-м курсе".

Подвижничество кружка было столько же делом, сколько настроением, преимущественно даже последним. Примкнув к кружку, Писарев увлекся этим таинственным подвижничеством, что, между прочим, и заставило его посвятить целых 16 месяцев бесплодной для него работе над биографией В. Гумбольдта.

Ближе всего сошелся он со своим товарищем Трескиным. О последнем нам необходимо сказать несколько слов. Дружба обоих студентов была основана, кроме чисто личного, непосредственного влечения, на том, что каждый из них, хотя и по-своему, переживал тот же нравственный кризис. Болезненный, нервно-раздражительный, страстно-порывистый Трескин поддавался светлому обаянию смелой и самоуверенной личности своего товарища. Он вносил в свои отношения с ним, особенно в медовые месяцы дружбы, даже несколько сентиментальный характер; он был просто влюблен в Писарева, применял к нему теории о различных магнетических токах, уверял, что, даже не глядя в его сторону, чувствует его приближение, и т. д. Иногда его нежность доходила до смешного: он ничего не ел лакомого, не поделившись с другом, причем последний трунил над ним и уверял, что они разыгрывают между собой сцены, достойные Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. И все это – несмотря на коренное различие характеров. Писарев – скрытая вольница, Трескин – подвижник, хотя и не в широком масштабе.

Трескин был воплощением мрачного, сосредоточенного страдания; несмотря на скептицизм в области религии, он по натуре был мистиком, всякое свое отрицание он брал с бою, страдая до холодного пота и нервной дрожи, часто пугаясь своих собственных мыслей, как дети пугаются своих собственных голосов в темной комнате. Каждый смелый шаг в области мысли немедленно вызывал в нем реакцию противоположного свойства, и он часто делился с другом своими сомнениями, говоря:

– А имеем ли мы право касаться таких вопросов, не излишняя ли это

дерзость с нашей стороны?

Трескин бросался на колени перед павшими алтарями со слезами раскаяния на глазах, с глубокой болью в сердце; он отрывал от себя прошлое с кровью и мучительными страданиями, потому что ему невозможно было остановить однажды начавшуюся работу ума. В нравственных вопросах он был неумолимо строг к самому себе и другим; малейшая фальшь, малейшее уклонение от какого-то мечтательного, невозможно высокого идеала приводили его в негодование, и Писарев часто шутя называл его цензором нравов.

Очевидно, что с таким человеком Писарев мог быть дружен лишь до поры до времени, лишь до поры до времени мог он быть дружен и со всем кружком. Птенец оперялся очень быстро, а индивидуальность скрытой вольницы тянула совсем не в сторону сидения и плаканья “на реках вавилонских”.

Тогда начинался разгар 60-х годов или, как любят выражаться иные публицисты, виделось уже зарево грядущего пожара. К этому зареву нам надо присмотреться, хотя заметим, что, несмотря на прошествие тридцати с лишком лет, настоящая его сущность известна нам лишь приблизительно.

Еще и теперь во многих умах господствует то странное представление, что неизвестно как и откуда, но, по всей вероятности, из какого-нибудь ужасного места, вроде болот меотийских или лесов муромских, вышли семинаристы, неумытые, грязные, всклокоченные, полные нравственной заразы и дерзости. Семинаристы эти, пользуясь снисходительностью власти, стали творить всякие безобразия и с ударением на о проповедовать разрушение основ семейных и государственных, бесполезность искусства и Пушкина и многие другие одинаково ужасные вещи. Но вскоре дерзость новаторов переполнила чашу терпения, снисходительность власти исчезла, и семинаристам было приказано скрыться опять за меотийские болота. Водворилась тишина.

Такая суздальская картина, могущая существовать еще неизвестно сколько времени, подвергалась не раз значительному разукрашиванию и даже художественной (!) обработке. Не раз у добрых читателей и добрых читательниц исторгались слезы сострадания описанием бедствий юных дев, подвергшихся тлетворному влиянию лохматых нигилистов, не раз изображались семейные бури и трагедии, вызванные новыми идеями, не раз эти нашествия бурсаков на Россию уподоблялись вторичному вторжению Мамая и его необузданного воинства. Художники (!) изображали нам слезы покинутых жен и отчаяние брошенных мужей, писк и рыдание на произвол оставленных младенцев, мерзость нигилизма и

прелесть Домостроя. Незачем возвращаться ко всему этому, и, отставив в сторону нравственную оценку эпохи, попробуем подойти к ней с другой стороны.

Как бы ни называли ее – мрачной или светлой, – есть один эпитет, который совсем не подходит к ней: ее нельзя назвать серенькой. Обычные будни уступили тогда место исканию и брожению. От высших до низших волновались все и беспокойно искали новых форм жизни, новых идей, новых кумиров. Это брожение, эти беспокойные порывы духа – первое, что бросается нам в глаза в эпохе, о которой идет речь.

С точки зрения хронологии ее началом можно считать смерть императора Николая и окончание Крымской войны. Умирая, Николай I уложил с собой в могилу целую систему, патриархальную и суровую, основанную на крепостном праве и подчинении отдельного человека – личности, строгому режиму – как семейной, так и государственной жизни. Крымская война по плану должна была послужить апофеозом старой крепостной России и доказать всей Европе не только силу и величие отечества, но и вред всяких новшеств, всяких свободных идей и учреждений. Грандиозная эпопея двенадцатого и следующих годов очевидно носилась перед воображением Николая. Он, чей голос мощно и властно раздавался в Европе в течение тридцати лет, рассчитывал крымской победоносной кампанией стереть с лица земли все, что оставил по себе бурный и революционный сорок восьмой год. Действительность не оправдала ожиданий. Защита Севастополя прибавила блестящую страницу в наши летописи, но торжества над Европой доставить не могла. Напротив, крымская кампания с поразительной ясностью доказала нам, что мы бедны и глупы и что первая наша задача заключается не в усмирении революционной Европы, а в заботе о собственном благополучии. Но достигнуть его, при сохранении старых порядков и преданий, оказывалось невозможным, а все эти старые порядки и предания гнездились, главным образом, в крепостных отношениях.

Падение крепостного права было лишь самым крупным и видным проявлением падения крепостных отношений вообще. “Трудиться для себя” было лишь одной частностью, одной стороной более широкого стремления “жить для себя”. А жить для себя хотели все: и мужики, и разночинцы, и молодое поколение баричей. Но строгая ферула[13] Николаевской эпохи сдерживала это хотение; оно проявилось, когда ферула исчезла.

Здесь приходится отметить один факт, на который до сей поры обращалось слишком мало внимания. Я говорю о пластичности того

поколения, которое выступило на сцену после крымской кампании и. играло главную роль в течение следующего десятилетия.

Бывают эпохи, как это всякому известно, когда общество состоит из личностей особенно пластичных, особенно восприимчивых, на лету схватывающих новые веяния; бывают эпохи гораздо более тяжелые и скучные– личности нелегки на подъем и глухи ко всему, что не носит на себе печати старины. Значение внешних условий ничуть от этого не умаляется, так как степени восприимчивости и глухоты могут быть очень различны.

Шестидесятые годы были движением массовым, движением, охватившим значительную часть общества и проникшим в такие уголки, что просто приходится диву даваться, как это могло произойти. Другой раз недостаточно десяти томов капитальнейшего научного исследования, чтобы убедить в чем-нибудь человека; тогда было довольно одного слова, одного намека. Почему? Для этого была подготовлена почва. Но ответить так – значит ровно ничего не ответить.

Пластичность и восприимчивость людей шестидесятых годов резко бросаются в глаза, как только начинаешь знакомиться с большим числом биографии людей этого времени. Мысли и убеждения хватались тогда на лету с такою же нетерпеливой страстностью, такою же удивительной торопливостью, как это было, скажем, в иные эпохи французской или немецкой истории. Эта “физиологическая” сторона исторических явлений разработана так мало, что гораздо легче указать на нее, чем разъяснить. А между тем странно было бы отрицать ее значение, еще страннее отрицать самый факт ее существования.

С.В. Ковалевская в своих в высшей степени любопытных литературных воспоминаниях рассказывает о том переполохе, который произошел в их уезде при первом же зареве шестидесятых годов.

“Жили себе, – читаем мы, – жители Палибина мирно и тихо: росли и старились, ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи или другого научного открытия, вполне убежденные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки какого-то странного брожения, которое несомненно подступало все ближе и ближе и грозило подточить самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла как будто разом отовсюду. Можно сказать, что в этот

промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретического, абстрактного характера. “Не сошлись убеждениями!” – вот только и всего; но этого “только” вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей – отречься от детей. “Детьми”, особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то – убегать из родительского дома. В нашем непосредственном соседстве, пока еще Бог миловал, все обстояло благополучно; но из других мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика убежала дочь, которая за границу – учиться, которая в Петербург – к “нигилистам”.

Сам Писарев рассказывает нам в своих воспоминаниях следующее:

> “Уж в 1858 и в 1859 гг. студенты, поступившие в университет, не были похожи на нас, студентов III и IV курсов. Поступая в университет, мы были робки, склонны к благоговению, расположены смотреть на лекции и слова профессоров как на пищу духовную и как на манну небесную. Новые студенты, напротив того, были смелы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, так что через какие-нибудь два месяца после поступления они оказывались хозяевами университета и сами поднимали в студенческих кружках дельные вопросы и серьезные споры. Они затевали концерты в пользу бедных студентов, приглашали профессоров читать публичные лекции для той же благотворительной цели; они устроили студенческую библиотеку; а мы, старые студенты, считавшие себя цветом университета и солью русской земли, мы остались в стороне, изобразили на лицах своих иронию и стали повторять стих Грибоедова: “шумите вы и только”. Но скоро оказалось, что ирония наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успешно; оказалось, что движение и мысль пошли мимо нас и что мы отстали и превращаемся в книжников и фарисеев”.

А ведь всего-навсего прошло 2 года!.. Но подхваченные массовым

одушевлением люди формировались очень быстро, иногда даже неожиданно для самих себя.

Поэтому нечего удивляться той быстроте и резкости переворота, который произошел в благовоспитанном Писареве. Это, повторяю, было вполне в духе эпохи. Но этот переворот все же имел свои переходные ступени и явился, так сказать, равнодействующей целого ряда причин.

Я уже упоминал о том, что университетская жизнь не могла не отразить на себе веяния времени. С молодежью заговорили другим языком; лекции профессоров оживились; с кафедры раздавались слова, которые привели бы в неописуемый ужас блюстителей порядка в предшествующую эпоху; студентам были разрешены сходки; заведование кассой было передано в их распоряжение; университетской молодежи было, словом, дано нечто вроде внутреннего самоуправления, разумеется, весьма узкого, но все же преисполнившего студентов гордостью и восторгом; между профессорами и учащейся молодежью стали завязываться простые, почти товарищеские отношения.

Эти новшества расстраивали кружок. С каждым днем ряды ученой партии редели, отчасти потому, что “ученые” кончали курс и поступали на службу в разные департаменты, где они очень быстро растворялись среди чиновничества, отчасти и потому, что некоторые “ученые” перебегали на сторону новых студентов и делались сами антагонистами университетской учености, университет сближался с жизнью лучшей части общества. С нею же сближался и Писарев.

Между тем как восторженный и фанатичный Трескин все больше предавался созерцанию вечного идеала и, возлюбивши всем юным сердцем своим знания вообще и историю средних веков в особенности, мечтал обручиться со своей мистической невестой – наукой – и водвориться вместе с ней на чердаке вдали от шума городских улиц и соблазнов мира, Писарев с особенным наслаждением отдался университетской жизни с ее шумом и гамом, ее сходками и удовольствиями.

На сходках он говорил больше всех, кричал громче всех, и все это с таким жаром и увлечением, что, казалось, готов был душу положить за дорогое товарищество. Во время скандалов с профессорами не было человека более рьяного, чем он.

Вдыхая в себя полной грудью окружавшую его атмосферу, он проникался ее настроением, а это настроение было совсем не научное, но чисто публицистическое. Повсюду являлись новшества, и на практике, разумеется, каждому из новаторов приходилось столкнуться прежде всего с семьей. Семья, основываясь на старых традициях, считала себя вправе

предъявлять вскормленному и вспоенному ею юноше свои требования. Но удовлетворить эти требования ввиду новых веяний становилось все труднее. Прежде из рук семьи, которая кормила, поила, холила и дисциплинировала, личность прямо и непосредственно переходила в руки государства, которое дисциплинировало, кормило, поило, но холило мало. Это был ее, личности, заколдованный круг. Теперь появились “общество”, “общественные задачи”, “общественные идеалы”. Можно прямо сказать, что 60-е годы открыли в России общество, какого раньше на сцене не было, разве в случайные, экстренные минуты затруднительного состояния отечества.

Большинству из деятелей 60-х годов пришлось, повторяю, столкнуться с семьей. Писарев не только не избег общей участи, но и претерпел ее до конца.

Слыша об университетских подвигах своего благовоспитанного племянника, дядя и тетка Писарева покачивали головами и были смущены тем более, что ничего подобного они никогда не ожидали и ожидать не могли. Дядя стал делать замечания, которые – увы! – приводили к совершенно противоположным результатам, – и наконец махнул рукой, объявивши, что Dmitry a mal tourné et devint un Saint-Juste en miniature.[14] Писарев же продолжал свое дело, стал показываться все реже и реже в гостиной своих родственников, где теперь он уже задыхался от царившей там благочестивой и томительной скуки, и вместо гостиной бежал куда-нибудь к товарищу отводить душу или на сходку. Особенно огорчила старика-дядю следующая выходка племянника: в семье было принято служить всенощную накануне именин главы дома, но как раз в этот день была назначена сходка, и Писарев, несмотря на все уговоры, категорически заявил, что на церковной службе не будет. Это переполнило чашу, – и по безмолвному соглашению было решено разъехаться, чтобы не встречаться больше в жизни.

Резкость и вызывающий тон таких поступков неприятным образом поразят, быть может, мягкую душу благонамеренного читателя, и лично самому мне ни резкость, ни вызывающий тон никогда не нравились. Но что делать: чем туже стянуты пеленки, тем более энергичные движения нужны, чтобы расправить члены. А пеленки, в которых обретался Писарев до восемнадцати лет, были затянуты туго, очень туго.

Гораздо более серьезные столкновения ожидали его у себя дома, в Грунце. Обновившись, со своей обычной резкостью и прямолинейностью он высказал это матери. Та с малолетства сжилась с убеждением, что в Бога и родителей надо верить свято, а последним, сверх того, повиноваться

беспрекословно. В сыне старалась она воплотить свой идеал человека и, казалось, добилась своей цели, и вдруг совершенно неожиданно все это разлетелось в прах. Писарев резко и прямо объявил ей, что хочет жить и любить сознательно, что для человеческого достоинства их обоих одинаково оскорбительно положение кумира и коленопреклоненного правоверного. Чем дальше в лес, тем больше дров, и когда из области отвлеченностей перешли к вопросам практической жизни, Писарев на вопрос матери – ослушался ли бы он ее и женился ли бы против ее воли, объявил, что для него любимая женщина стоит выше всего в мире, что своей любви и своего счастья он не станет ломать ни для кого, и закончил речь, высказавши, что твердо решил жениться на Раисе, хотя знает, что родители этого не хотят.

Детская влюбленность Писарева успела за это время обратиться в любовь и сосредоточила возле себя все его помыслы и вожделения. С самого дня отъезда в гимназию он писал Раисе свои откровенные, хорошие письма; приезжая домой на каникулы, он столько же радовался свиданию с матерью, сколько и свиданию с той, образ которой наполнял его детские и юношеские грезы.

Но тут же на первых порах он попадает в положение Ромео и видит целый заговор, направленный против его счастья, против всего его будущего. Жизни без Раисы он в то время представить себе не мог. А между тем семья и все старые патриархальные традиции сыновней покорности и безусловной власти родительской заявили ему, что так не будет и что так быть не должно.

Любовь к Раисе и противодействие этой любви и дали, по моему мнению, плоть и кровь тем отвлеченным, теоретическим воззрениям, которые усвоил он себе за это время, подчиняясь общему настроению.

С какой точки зрения мог он защищать свою любовь – против матери, против семьи, против всего в мире наконец?

Этой точки зрения должно было явиться нравственное достоинство личности, ее право на собственное счастье…

Вглядываясь пристальнее в умственное движение 60-х годов, мы видим, что его общий характер был по преимуществу протестующий. Протест естественно направлялся против тех основ или, вернее, тормозов, которые делали неподвижным строй прежнего времени. Основами этими были патриархальность семьи и общественного режима. Обе эти действующие силы со своей дисциплиной, со своим настойчивым стремлением подчинить себе мысль, волю и труд человека, со своим безусловным “veto” и столь же безусловным да будет давили личность

тяжестью своей вековой старины и авторитета. Они отлились в определенные, резко очерченные формы, перенеся передряги и неудачи; выразившись с такою полнотой, с какой возможно только выразиться, они окаменели и стояли, как сфинксы, – неподвижные и неизменные. Эти сфинксы, как в известном греческом мифе, могли уступить свое место и посторониться, чтобы очистить дорогу новшествам и молодой жизни, лишь в том случае, когда найдено будет слово, разрешающее их вековую загадку. История знает такое слово и на сотни ладов постоянно повторяет его. Это слово – человек, личность.

Эмансипация личности – вечный лозунг всякого прогрессивного движения; такой же лозунг был и у 60-х годов.

Правда, та же эпоха, эмансипировав личность, поспешила подчинить ее новому авторитету – авторитету общества, но начало потока – там же, где вообще начинаются исторические потоки.

Воспринявши идею эмансипации личности в ее отвлеченной, теоретической форме, Писарев сразу же в обстоятельствах личной своей жизни нашел ее практическое применение. Любовь к Раисе – как фон, женитьба на ней – как идеал, дали его взглядам и стремлениям ту плоть и нервы, которые впоследствии с таким блеском выразились в его пропаганде личного счастья.

Этим он защищал самого себя, самое дорогое, что было в его жизни, – тем гуще и ярче были краски, тем пластичнее образы.

Но вместе с тем как мучительно все это было! Протестующие начала, прежний патриархальный строй, прежние семейные традиции, настойчивые, требовательные, угрожающие даже, являлись и перед 18-летним Писаревым не в образе признанных врагов, а в образе любимой матери, которая не могла и не смела бороться, а могла лишь кротко упрекать со слезами на глазах, с бесконечной грустью в чертах дорогого лица! Тяжела ты, шапка Мономаха, а еще тяжелее жестокая необходимость ломать счастье. близкого человека во имя безусловных прав своей нравственной личности…

Началась семейная трагедия со всеми ее тяжелыми, неизбежными последствиями. В мирную, любовную жизнь Писаревых впервые вторглись невеселые мотивы. Отцы и дети, как в большинстве тогдашних русских семейств, стояли друг против друга, не понимая друг друга, обмениваясь то недоумевающими, то враждебными взглядами.

# ГЛАВА IV

Начало литературной деятельности. – “Рассвет” Кремпина. – Писарев нашел себя. – Научные потуги. – Кризис приближается

Нам необходимо вернуться теперь немного назад и посмотреть, как началась литературная деятельность Писарева.

“В начале зимы 58-го года, – рассказывает он, – мне удалось найти работу в одном журнале для девиц (“Рассвет” Кремпина), начинавшем свое существование в начале 59-го. Мне было поручено вести в этом журнале библиографический отдел, т. е. указывать юным читательницам на те книги и журнальные статьи, которые могут обогатить их ум, не вредя чистоте и непорочности их сердца. Направление журнала было сладкое, но приличное, и от изданий г-жи Ишимовой он отличался значительно. Мы даже за эмансипацию женщины стояли, стараясь, конечно, не огорчать такими суждениями почтенных родителей. Добродетель мы любили особенно горячо и об ней говорили уже совершенно смело, так как добродетель – предмет одинаково приятный и для детей, и для родителей.

Сначала я взглянул на свою новую работу преимущественно с денежной точки зрения: мои библиографические заметки оплачивались по 30 рублей серебром за печатный лист и доставляли мне ежемесячно от 60 до 70 рублей серебром. Для студента, бегавшего в публичную библиотеку, чтобы не издержать 5 рублей на книгу, это была целая Калифорния, я и ухватился за эту работу обеими руками, чтобы удержать ее за собой. Редактор мой, конечно, заметил это, остался очень доволен моими стараниями, и месяца через два после нашего знакомства мы уже были уверены, что не расстанемся без особенной необходимости, потому что оба чувствовали, насколько мы полезны друг другу. Нечувствительно забралась ко мне в голову мысль, что эта работа может поддерживать меня и после выхода из университета. Стало быть, думал я, если даже я не отыщу себе прочной специальности, беда не так велика, жить можно; чем ясней вырисовывалась для меня эта утешительная перспектива, тем сильнее я дорожил моей журнальной работой. Редактор поговаривал даже о том, что, когда я выйду из университета, он попросит меня быть его помощником по редакции. При мысли о таком повышении и благополучии я чувствовал даже головокружение и отвечал, опуская глаза, что всегда готов служить нашему общему делу. Между тем работа начинала действовать на меня не с одной денежной стороны: я привязывался к ней искренне и сильно. Я писал

свои жиденькие и невинные статейки с таким увлечением, с каким мне никогда не случалось работать над биографией Гумбольдта. Мне было приятно всматриваться и вдумываться в чтение книг и журнальных статей, потому что я видел перед собой близкую и вполне доступную цель этого всматриванья и вдумыванья. Мне было приятно развивать на бумаге мои мысли и взгляды, потому что они были действительно мои, и я вполне понимал, что я пишу; я всей душой сочувствовал тому, что я старался объяснить или доказать. Я не производил ничего нового и оригинального, но для меня это было и ново, и оригинально.

Для составления моих библиографических обзоров мне приходилось читать много разнообразных книг и статей, и мне нравилось не только размышление и писание, но и пестрое чтение само по себе. Вся эта масса книг и статей составляла самый разнообразный сброд, но и во всем этом сброде чувствовалось то обаятельное веяние жизни, без которого не может существовать самый мрачный из современных журналов. Мне пришлось прочитать много исторических статей Маколея, Прескотта и Мотлея, много педагогических рассуждений, несколько книг по естественным наукам. Наконец в 1859 г. мне пришлось говорить довольно подробно в нашем журнале об Обломове и Дворянском гнезде. Словом, библиография моя насильно вытащила меня из закупоренной кельи на свежий воздух, и этот переход доставил мне греховное удовольствие, которого я не мог скрыть ни от самого себя, ни от других”.

Итак, Писарев нашел себя.

Достаточно, думается нам, прочесть любую статью Писарева, помещенную в любом из томов его сочинений, чтобы убедиться, что перед вами настоящий, доподлинный журналист. “Поэты родятся”, но “родятся” и журналисты. Само собою разумеется, что путем усиленного труда, путем утомительной настойчивости можно выработать из себя все что угодно – скрипача, романиста, скульптора; нельзя выработать в себе лишь одной способности, без которой нет и не может быть искусства, т. е. творчества. Можно сделаться кем угодно, нельзя лишь сделаться поэтом. Для этого нужны специальные дарования, а их дает лишь “природа-мать”…

Все равно, как музыканту нужен исключительный слух, художнику – зрение, способное различать оттенки и переливы самых близких друг другу цветов, архитектору – чувство симметрии, так и журналист не может обойтись без специальных дарований.

Таких дарований у Писарева было в избытке, и несомненно, что, выступая в журнале Кремпина, он нашел наконец свою настоящую дорогу.

Уже в детском возрасте в нем можно было ясно различить силу и

способность словесного выражения; едва начиная лепетать, он “любил уже закруглять и отделывать свои фразы”. Семи лет он принялся за писание детского романа, просиживая целые дни за этим бесконечным произведением своей фантазии. Все это его собственное, природное, неотъемлемое. А та страсть, с которой он всегда защищал свои мнения, та постоянная готовность спорить до слез, какой он отличался уже в те годы, когда у других едва начинает пробуждаться ум? Вера в свою мысль, потребность развивать ее, еще более высшая потребность распространять эту мысль и привлекать на ее сторону, а иногда просто порабощать ею других – вот качество, без которого журналист – простой поденщик и ремесленник.

В мысли журналиста – истинного, разумеется, – есть всегда что-то деспотическое, прямолинейное. Мысль эта действует столько же на ум, сколько на чувство и волю, заставляет себя любить и ненавидеть. “Она всегда нравственна” в научном смысле слова, т. е. прямо или косвенно ведет к поступкам. В ней необходим практический, действующий элемент, иначе она не может быть силой.

Несмотря на все свои попытки стать во что бы то ни стало человеком науки, Писарев, потрать он на это даже не два, а целых 22 года, едва ли добился бы своей цели. Его мысли не хватало ни спокойствия, ни медлительной настойчивости; слишком горячая и страстная, она неслась без удержу, перепрыгивая через препятствия, в упоении от своей собственной красоты, силы и грации. Она всегда клонилась вместе с тем к оправданию и обвинению, так как мысль эта была действующая, а не созерцательная. Вопрос: что делать? что выйдет из этого? – был для нее важнейшим.

Легкость и быстрота мысли, способность сразу овладевать сущностью предмета, отсутствие той умственной настойчивости, которая обращает столько же внимания на мелочи и подробности, как и на главное, т. е. настойчивости, создавшей Дарвина, Бэкона, мешали Писареву стать человеком науки.

Тот же Трескин постоянно укорял его за недостаток усидчивости в труде и упорства в работе. Для Писарева достаточно было малейшего толчка, самого слабого, едва брошенного намека, и он развивал мысль дальше, доводил ее до последних логических пределов и излагал ее в самой блестящей форме. Как истинный журналист, он был виртуозом изложения.

Природные данные влекли его к журналистике; случай и обстоятельства времени позволили ему рано, быть может, даже слишком рано, “открыть самого себя”.

Но такова несчастная судьба Писарева: стоило ему только в чем бы то ни было послушаться голоса своей природы и пойти за ним, как немедленно же в том или другом виде восставал против него призрак долга с целым запасом жалких или угрожающих слов. Он любит Раису и хочет жениться на ней, лишь в этом одном полагая счастье свое, – семья не соглашается, семья протестует, семья устраивает всевозможные препятствия.

Ему надоела наука, по крайней мере, та глупая наука, которою он по неопытности своей занимался целых два года. На лекциях и при виде филологических сочинений он начинает ощущать новую тяготу. Мысль его неудовлетворена, а между тем она – молодая, настойчивая, пытливая – ищет живой деятельности, которая развила бы ее и, давая ей необходимый простор, вела бы к правде и свету. Кажется, это найдено. Журнальная работа и связанное с ней пестрое чтение приходятся Писареву по душе. Он горячо увлекается новым знанием, инстинктивно предчувствуя в нем дело всей своей жизни…

И что же?

Призрак долга опять восстает против него, и притом еще раз в самой неприятной форме.

“Товарищи мои (т. е. жрецы науки), – рассказывает он, – стали внушительно качать головами, говоря, что, конечно, журнальной работой заниматься позволительно для приобретения материальных средств, но что увлекаться ею не следует, потому что она отводит человека от науки и повергает его в пустословие и пагубный дилетантизм. Мне указывали с соболезнованием на поучительный пример Добролюбова, который, видите ли вы, мог бы быть дельным ученым, а вместо того сделался пустым журналистом и увлекся суетою “Современника”. Я, со своей стороны, старался уверить всех в моей невинности, открещивался от примера Добролюбова и говорил, что никогда не пойду по такому предосудительному пути. Остаток прошедшего, мертвый догмат все еще висел над моей головой, и я употреблял последние усилия, чтобы поддержать мою угасавшую веру в величие и святость филологии”.

Особенно энергично набросился на него любимейший друг и товарищ Трескин. Тот, не разобравший сначала, в чем дело и к каким результатам может привести Писарева сотрудничество в “Рассвете”, и взглянувший на это занятие довольно благосклонно, заметил, что дела идут не совсем так, как он думал, и принялся менторствовать. Он стал говорить другу жалкие слова, вроде того, что Писарев продал душу дьяволу, что он гоняется за грошами и пренебрегает из-за презренной прозы своим великим истинным

призванием, что из него может выработаться такой же пустослов, как Добролюбов, словом, стал советовать или совершенно бросить “Рассвет”, или отказаться от критического отдела и, чтобы не потерять заработка, взяться за переводы, которые не могли занимать столько времени, да и не отвлекали бы мысль от серьезных занятий.

Писарев раздражался этими советами и увещаниями: с одной стороны, ему было больно и тяжело видеть в своем друге полное несочувствие тому, что так сильно увлекло и занимало его, придавая новый смысл его умственной деятельности, с другой, – он глубоко возмущался педантизмом Трескина и его полнейшим непониманием тех нравственных мотивов, которые руководили им самим. Особенно оскорблял его упрек в пристрастии к презренному металлу. Писарев был всегда бессребреником, хотя некоторые лица, с которыми ему приходилось иметь денежные дела, быть может, считали его иным, когда он бесцеремоннейшим образом уличал их в попытке сбарышничать и заставлял выплачивать себе все до последней копейки. Грошовые расчеты и практические соображения всегда отходили у него на задний план, а сотрудничество в “Рассвете” было ему мило совершенно независимо от материальных соображений.

Но Трескин стоял на своем, ежедневно пилил Писарева, ярко рисовал ему идеал сурового нравственного аскетизма и, встречая противодействие, патетически восклицал:

– Ты погиб!..

Видя, наконец, что Писарева нельзя отвлечь от литературной работы, Трескин стал настаивать, чтобы он извлек из нее хотя бы косвенную пользу, посвятив ее систематической популяризации какой-нибудь специальности.

– Да нет ее у меня, этой специальности, пойми же ты наконец, милый, – тоскливо восклицал Писарев, тем более раздражаясь, что отсутствие этой самой специальности все-таки грызло его в глубине души и составляло его больное место…

Тогда Трескин переменил тактику и с видом глубочайшей научной добросовестности и не меньшего научного беспристрастия стал обсуждать всякую статью, выходившую из-под пера Писарева, который, прежде чем отправлять свой труд в печать, читал его другу, иногда горячо спорил с ним, но все же отдавался ему на суд, хотя статей по его указаниям не переделывал.

Суд происходил таким образом. Писарев прочитывал какую-нибудь фразу, обыкновенно афоризм или парадокс, которые с такой поразительной легкостью выходили из-под его пера. Трескин, поправляя очки, скромно вопрошал:

– А на чем это основано? Начинался спор.

– А ты читал то-то и то-то? – продолжал Трескин, и так как Писарев обыкновенно не читал, то этого было достаточно, чтобы упрекнуть его в легкомыслии и пристрастии к словоизвержению.

Это была своего рода инквизиция, ежедневная и ежеминутная. Сам Писарев не мог не сознавать, что доля правды есть в словах его друга, что на самом деле он знает слишком мало, да и что особенно можно знать в 18 лет? Но когда эта доля правды преподносилась ему в виде одних упреков и укоров, мучительно действовавших на самолюбие, преподносилась к тому же лучшим его другом и товарищем, – он раздражался и мучился.

Упрек в научной неосновательности приходилось слышать каждому из наших журналистов, упрекали в этом Белинского, Чернышевского, Добролюбова, упрекали и Писарева. Даже Н.К. Михайловский, несомненно, самый “научный” из наших публицистов, не раз подвергался той же участи, т. е. тем же упрекам.

Происходит это, мне думается, от двух причин. Во-первых, от нежелания разграничить область науки и журналистики, а во-вторых, от той легкости, с какою можно критиковать журнальную статью, став на “научную точку зрения”.

Журналистика близка к науке, и, несомненно, чем ближе она к ней, чем больше принимает она во внимание научную мысль, тем лучше. Но все же области и методы их совершенно различны. При том состоянии, в каком обреталось лет 30–50 тому назад, а пожалуй, и теперь еще обретается, русское общество, наука может оказывать влияние на самую незначительную часть его, на весьма незначительный кружок избранных. Но тормошить необходимо, как необходимо будить мысль и расширять кругозор читателя. Журналист достигает этого столько же аргументацией, сколько и обаянием своего изложения и своей личности. Вывод науки, всегда отвлеченный, всегда слишком общий, он обязан приспособить к данному состоянию общества, к размерам его понимания, к практическим задачам, предстоящим ему, иначе голос его будет голосом вопиющего в пустыне, а его статья – горохом в стену. Наука, далекая от практических задач жизни, может подвигаться вперед своим медленным, торжественным шагом, нисколько не смущая себя мыслью, что требования ее осуществятся, быть может, через 1200000 лет; но не покажется ли смешным тот публицист, который пишет в глубоком убеждении, что все сказанное им неосуществимо, а если осуществимо, то никак не на земле, а где-нибудь на Марсе или Венере? В таком случае пусть он лучше интегрирует уравнения и приносит посильную пользу в области чистой

математики.

Публицисту так же необходимы вера, любовь, ненависть и вообще вся субъективная сторона человеческого мышления, как и аргументация. Он ведет человека к активной деятельности, пункт его атаки – столько же воля, сколько и разум, отчего синтез методов субъективного и объективного для него необходим.

Мало того. Он постоянно затрагивает общественные вопросы. Как в этом случае может он стоять исключительно на научной почве? Где такая наука – социология? Есть только попытки, но ведь история не ждет, пока явится Дарвин социологии, и может за это время накуролесить так, что потом и не расхлебать заваренной ею каши. Публицисту волей-неволей приходится подчас удовлетворяться неполными или неточными сведениями, предвосхищать вывод, опираясь на свою любовь или ненависть, вместо того, чтобы ждать работ статистики, исторических исследований и дарвинов социологии. В этом есть своя неудобная сторона, но есть и хорошая.

Мы всегда оправдаем публицистику, если станем на ту очевидную точку зрения, что люди руководствуются в своей деятельности столько же убеждениями, сколько мнениями. Мнение – субъективно, источник его не в научном анализе, не в работе научной мысли, а в “настроении”, – как результат целой совокупности неясных для самого обладателя этого настроения причин. Наука мнений не имеет, а имеет выводы и гипотезы; публицистика не может ни игнорировать мнений, ни обойтись без них. Конечно, чем научнее ее мнения, чем ближе они к действительному положению вещей и их законам, – тем приятнее, но ведь это не всегда возможно.

Упрекать Писарева за недостаточную научную подготовку во время работы в “Рассвете” следовало, но лишь при одном условии, т. е. отдавая в то же время полную справедливость его несомненному публицистическому дарованию. Последнее – такая редкость, такое громадное приобретение для общества, что чем бережнее к нему относиться, тем лучше. А вместо этого он слышал: это легкомысленно, это не обоснованно. Ты того-то и того-то не прочел.

И он страдал от такого непонимания, страдал от роковой необходимости разрывать сердечные связи со всем близким, идя своей собственной дорогой.

# ГЛАВА V

Неудачи любви. – В психиатрической больнице. – Dementia melancholica

Нравственный кризис между тем приближался к своему трагическому окончанию. Но ни сам Писарев и никто другой этого не ожидали.

Настали каникулы 1859 года. Писарев ожидал их с величайшим нетерпением; никогда, быть может, он так лихорадочно не рвался в свой любимый Грунец, как теперь. Кроме матери, которую он искренно любил, несмотря на происшедший между ними в предыдущем году разлад, кроме семьи и всей дорогой ему родной обстановки, он ожидал увидеть в деревне кузину. Об этом свидании было обговорено еще зимой в письмах, оно было обещано ему матерью, которая, придя к убеждению, что сына удержать нельзя и что если он не будет видеть Раису в Грунце, он устроит это дело как-нибудь иначе, – решилась сама руководить всем. Но, увы, Писарев приехал в Грунец, а кузины не было: старый родственник, у которого она гостила, глубоко убежденный, что l'amour – c'est une maladie,[15] объявил, что по мере сил не даст другим возможности делать глупости, и не пустил Раису к Писаревым.

С житейской точки зрения все это было очень умно и благоразумно. Ну можно ли, в самом деле, 19-летнему юноше-студенту и к тому же журналисту (а ведь журналисты и теперь еще в глазах благоразумных людей – народ неосновательный, попросту прощелыги) думать о семье и прочем.

Первый вопрос Писарева по приезде в деревню был: “А где же Раиса?” – “Гостит у дяди, – отвечали ему, – и он ее не пустил”.

Это “не пустил” чуть не довело Писарева до бешенства. Итак, говорил он себе, против меня целый заговор… Старые брюзги и ворчуны вмешиваются в мою судьбу и устраивают ее по собственному усмотрению. Посмотрим…

Как у всякой даровитой, глубоко самоуверенной натуры, к тому же натуры с такой резко выраженной индивидуальностью, препятствия только вызвали со стороны Писарева страстное желание борьбы и победы… Но он не знал еще, как бороться, и страдал невыносимо. “Мне, – рассказывает В.И. Писарева, – часто случалось заставать брата невзначай в саду или тенистой беседке лежащим на траве или ковре с раскрытой книгой в руках, между тем как глаза его были устремлены вдаль с выражением упорной и

тревожной мысли. Он не любил, чтобы его заставали в такие минуты тяжелого раздумья, в нем при этом просыпалась какая-то гордая, суровая стыдливость, и он старался завести речь о каком-нибудь совершенно безразличном предмете, меньше всего интересовавшем его в данную минуту”.

Было, действительно, над чем призадуматься. Я хочу быть счастливым, я могу быть счастливым. Какое же дело другим до меня? Разве я мешаю им? Да, наконец, если это и так, какое право имеют они мешать мне?…

Эти вопросы не могли не вызвать злобы и раздражения, так как от пассивной покорности Писарев давно уже отказался.

Но следовал и еще целый ряд вопросов. Кто эти другие? Во имя чего они впутываются не в свое дело?

Эти другие – семья; эти другие – старый брюзга дядя, любящая мать, искренности которой Писарев в данном случае не совсем доверял, полагая, что и она причастна к отсутствию Раисы, отец, – словом, те люди, которые воспитали его по известному образцу, в известных понятиях и желали сделать из него человека такого-то образца.

Раздражаться против близких было можно, но Писарев был слишком умен, чтобы винить их. Вся злоба по необходимости должна была обрушиться на понятия, которые и “самих-то людей не делают счастливыми, и другим мешают устраивать свою судьбу”.

Дело доходило до окончательной ломки всего воспринятого, заученного, внушенного.

“Лето 59-го года, – рассказывает Писарев, – было для меня временем умственного кризиса. Все понятия, лежавшие в моем уме с самого детства, все готовые суждения, казавшиеся мне неприкосновенною основою всего существующего в моей собственной личности, все гипотезы, имеющие такое тираническое влияние на мысли и поступки большей части людей, – все это заколыхалось и как-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мне свою несостоятельность. Пока я без определенной цели читал памятники и исследования, до тех пор все эти несообразности оставались нетронутыми и считались такими истинами, которые ясны, как день, незыблемы, как гранитная стена, и величественнее Монблана или Казбека. Но когда пришлось читать и обдумывать все прочитанное с практическою целью, тогда мысль получила такой толчок, которого действия и последствия я не мог ни предвидеть, ни рассчитать. Пробудившееся стремление анализировать и всматриваться не может быть по нашей воле опять погружено в сон. Каждый человек, действительно мысливший когда-нибудь

в своей жизни, знает очень хорошо, что не он распоряжается своею мыслью, а что, напротив того, сама мысль предписывает ему свои законы и совершает свои отправления так же независимо от воли, как независимо от этой воли совершается биение сердца и пищеварительная деятельность желудка. Человек боится подойти к тем гипотезам, которые величественнее Казбека и Монблана, а мысль не боится и подходит, и ощупывает эти гипотезы, и вдруг докладывает, что это пустяки. Человек приходит в ужас, но ужас оказывается бессильным в борьбе с мыслью; мысль осмеивает и прогоняет ужас, и человеку остается только качать головой, стоя на развалинах своего миросозерцания. Наконец и качание головой прекращается, и тогда начинается новая умственная жизнь, в которой мысль пользуется неограниченным могуществом и не встречает себе нигде ни отпора, ни сопротивления. В этом царстве мысли живется тепло и весело, но период перехода тяжел и мучителен. Умственный рост сопровождается болезнями, как и рост физический. У меня напряжение ума во время переходной борьбы было так болезненно сильно, что оно повело за собой потрясение всего организма”.

Писарев ничего не говорит о своей сердечной драме. Но читатель не должен забывать о ней…

Чтобы не поддаться одному чувству, к тому же чувству грусти, Писарев боролся, сколько хватало сил, и искал утешения в работе. В “Рассвет” ежемесячно посылалось условленное число листов, время отдыха было занято чтением вслух в семье, а для чтения, чтобы и тут время не пропадало непроизводительно для журналистики, выбиралось то, что могло служить материалом для критических статей. Привезенные с собой, в чаянии пробуждения научного духа, почтенные тома шлецеровского “Нестора” мирно покоились в углу. Трескин, правда, укоризненно вздыхал и косился на заброшенные тома летописца, но, к счастью, проповеднический жар его несколько охладел, потому что он сам был занят денежной работой для того же кремпинского “Рассвета”. Он переводил рассказы из времен Меровингов и буквально страдал муками раздумья над каждой строчкой, перечеркивал, переписывал, улавливал “дух подлинника” с такой основательностью, как будто “ловил блох”, словом, трудился над переводом, вероятно, больше, чем сам Тьерри над подлинником. Призываемый ежеминутно на совет, Писарев только пожимал плечами и приводил пословицу: “assez de zèle, pas trop en faut”.[16]

Как ни увлекала работа Писарева, забыть своей грусти он не мог. Он тосковал, раздражался без причины, искал одиночества.

Мать, наконец, не выдержала и сама отправилась за Раисой.

Ожидая ее возвращения, Писарев провел несколько дней в мучительно-тревожном настроении духа. “Приедет или не приедет?” Он не мог найти себе места. Работа не клеилась, он начинал статью за статьей, рвал исписанные листы, бросался от одного дела к другому…

Мать вернулась, но Раисы не было. Вместо себя она прислала письмо. Прочтя его, Писарев упал на диван, закрыл лицо руками и судорожно зарыдал, как маленький ребенок.

В письме Раиса говорила про неизменность своей братской дружбы, про глубокое желание ему счастья и блага, но вместе с тем отказывалась наотрез быть его женой, “так как она любила другого”…

– Ну, что же, – заговорил наконец Писарев после долгого молчания, во время которого он как будто рассматривал свою рану. – С любовью, стало быть, дело покончено, но ведь не одна она в жизни; жить ею одной и предаваться отчаянию, когда она погибла, недостойно мыслящего человека и мужчины. Остается умственная деятельность, наука, труд – вот чему надо отдаться, вот средство вылечиться от горя… Придет со временем новая любовь – хорошо, а нет – и без нее проживу одними умственными наслаждениями…

Но пока это были слова, слова…

Из близких к Писареву людей один только Трескин почти радовался в глубине души тому, что сама судьба насильственно обрывала роман друга. Проповеднический жар вспыхнул с новой силой, и Трескин стал усердно приглашать Писарева окунуться с головой в обновляющие волны знания и врачевать раны больной души вечно живыми источниками науки. Писарев замечательно умно отвечал ему:

– Я, милый, с тобой не миндальничаю, не разыгрываю романа восторженной дружбы, а между тем я люблю тебя сильнее, чем ты меня, потому что ты мне дорог сам по себе, какой ты есть, ни больше ни меньше. А из меня ты хочешь сделать что-то такое и любишь во мне произведение собственного творчества. И я убежден, что ты, как раздраженный художник, разобьешь непокорный кусок мрамора в тот день, как убедишься, что я пойду не по твоей, а по своей дороге.

Так тянулось лето. Кроме тихой грусти, ставшей в последнее время преобладающим душевным состоянием Писарева, в нем, как результат всего пережитого и передуманного, стало сказываться какое-то умственное и нравственное утомление, какое-то “не по себе”, которое он старался всеми силами преодолеть и шутя приписывал слишком долгому пребыванию на лоне природы. Он уверял самого себя, что обленился на летней квартире, как Аннибал на зимней, что стоит только встряхнуться и

взять себя в руки, как все пойдет по-старому. Он задумывал написать зимой кандидатскую диссертацию, но тяжелое душевное настроение тревожило его самого. Прежняя рабочая энергия была будто парализована, писанье шло вяло, в статьях, которые писались всегда прямо набело и блистали аккуратностью и чистотой, все чаще и чаще стали появляться “трагические” помарки.

Он вышел из колеи.

Однако судьбе, руководившей романом его жизни, вздумалось еще раз – и даже не последний – дать ему надежду. Возвращаясь из Грунца в Петербург, он заехал к своему “счастливому сопернику” – тому самому Гарднеру, которого любила Раиса. К своему удивлению, вместо “счастливого соперника” он встретил больное, разбитое жизнью существо, за которым ему самому в короткое время свидания пришлось ухаживать, как за хилым и хворым ребенком…

В первом же письме к матери Писарев сообщил ей о том, что прояснило ему свидание с Гарднером, и просил передать все это кузине с возможно большими предосторожностями, просил приласкать ее в минуту тяжелого горя и помочь ей перенести грустное испытание. Он прибавлял, что его решение относительно кузины и собственной судьбы остается неизменным, но что повторять ей теперь свое предложение он счел бы неуважением к ее несчастной, сломленной в самом стебельке любви.

Итак, не все еще было потеряно, и Писарев с обновленными силами вернулся в Петербург. Здесь Кремпин встретил его с изысканной любезностью, товарищи– ласково, и Писарев ожил. Это сразу же отразилось на его письмах. Рассказавши матери о том, что ему удалось даже подружиться с возлюбленным кузины, он прибавляет:

> “Я говорю теперь чистосердечно, что желаю пока одного: чтобы Раиса не умерла и чтобы сгоряча не дала себе обета девственности. А там – будет ли она моею женою, или женою другого – лишь бы была счастлива. Себе-то я всегда найду утешение в области мысли. Теперь я могу себе представить только одно несчастье, которое сломило бы меня: сумасшествие со светлыми проблесками сознания. Все остальное: потеря близких людей, потеря состояния, глаз, рук, измена любимой женщины, – все это дело поправимое, от всего этого можно и должно утешиться”.

И в этих строках повторяется тот же самый мотив, то же самое

желание отдать всю свою жизнь умственному труду. Наслаждение мыслью – вот к чему должны свестись все радости бытия. Но пока, повторяю, Писарев только мечтал об этом, и самое оживление духа было только вспышкой перед полным мраком, куда он скоро погрузился.

“Осенью 59-го года, – рассказывает он, – я приехал с каникул в каком-то восторженном состоянии. Опрокинув в уме своем всякие казбеки и монбланы, я представлялся самому себе каким-то титаном, Прометеем, похитившим священный огонь: я ожидал, что совершу чудеса в области мысли. Мне случилось как-то в обществе товарищей говорить о миросозерцании древних греков, и я сказал, что греческая судьба, по всей вероятности, не что иное, как неизвестные законы природы. Эта мысль моя, находившаяся в самой интимной связи с общим ходом моих платонических идей, чрезвычайно понравилась мне и даже поразила меня каким-то благоговением. Я вдруг решился проверить и доказать эту мысль и даже превратить ее развитие в кандидатскую диссертацию. Я принялся за Гомера с тем неистовым рвением, которое всегда руководило моими любимыми занятиями. Месяца два я работал неутомимо, прочел восемь песен “Илиады” в подлиннике и, кроме того, сделал множество выписок из немецких исследований, трактовавших о том же предмете. Товарищи мои смотрели на мои труды с недоумением и иногда делали мне выговоры за то, что я оставил славяно-русские древности и так внезапно, очертя голову, бросился в совершенно неизвестную мне область науки. Но я объявил себя Прометеем и уже не обращал внимания ни на какие дружеские советы. Вдруг за пароксизмом восторженной и кипучей деятельности последовал пароксизм утомления и апатия…”

И правда, слишком много вынес Писарев для одного человека. Борьба с предрассудками, радужными иллюзиями и ребяческим миросозерцанием была кончена, побежденные враги утратили свой грозный характер, они будто просили пощады, и победитель остановился в тяжелом раздумье среди развалин своего прежнего счастья. Началась мучительная поверка итогов, возник грозный вопрос, где же то нравственное достояние, которым предстоит жить? Разрушенное старое оставляло по себе пустоту, от которой становилось тоскливо и холодно на душе.

У Писарева был выработан краеугольный камень миросозерцания. Это его “я”, свободная человеческая личность, стремящаяся к развитию и находящая в нем наслаждение. Но в данную минуту это сильное, гордое писаревское “я” чувствовало себя утомленным, разбитым. Характеризуя свое душевное состояние, Писарев приводил стихи Майкова:

Кругом – угрюмый вид природы.
И звезд иных огнем
Небес таинственные своды
Осыпаны кругом.

К ним так и манит взор мой хладный,
Но их спокойный вид,
Их блеск унылый безотрадно
Мне сердце леденит.

За все, чем прежде сердце жило,
Чем билось, – я дрожу
И в даль туманную уныло,
Оставя руль, гляжу…

И не садится ангел белый
К рулю в мой утлый челн,
Как в оны дни, когда так смело
Он вел его средь волн…

В Писареве появились уже первые ясные признаки душевного расстройства. Всем и каждому говорил он, что он призван совершить великий переворот в области искусств и науки. Его диссертация о судьбе оказалась мыльным пузырем, он немедленно принялся за роман все с той же мыслью открыть новые пути… Товарищи, не понимая, что с ним делается, и видя перед собой какое-то гипертрофированное самомнение, отшатнулись от него. Среди этих грустных обстоятельств он, как больной, испуганный одиночеством ребенок, бросился в объятия матери. Он писал ей грустные письма, откровенно рассказывал все, что происходило в нем и вокруг него, просил прощения за свое недоверие, так измучившее ее летом, просил забыть все прошлое и не отталкивать его.

Вот два отрывка из писем этого времени.

“Ради Бога, мама, прочти это письмо… Если тебе сколько-нибудь дорого знать состояние моей души, выслушай меня спокойно и верь искренности моих слов, хотя бы они показались тебе странными. Уже в Грунце, после известия, полученного от Раисы, я решил сосредоточить в себе самом все источники моего

счастья, с этого времени я начал строить себе целую теорию эгоизма, любовался на эту теорию и считал ее неразрушимою. Эта теория доставила мне такое самодовольствие, самонадеянность и смелость, которые при первой же встрече очень неприятно поразили всех моих товарищей. Развитие моей теории поразило их еще более, но я тогда не обратил на это никакого внимания. В порыве самонадеянности я взялся за вопрос; взятый из науки мне совершенно чуждой, и потратил на чтение по этому предмету 2 месяца. Под влиянием той же самонадеянности я думал, что с меня в жизни довольно одного себя: будут привязанности, друзья, любовь, думал я, – хорошо; не будут – и без них обойдусь и буду жить одной мыслью, в вечность которой я твердо верил, хотя и говорил, что оставляю это под сомнением. Следуя такой уродливой теории, я довольно равнодушно смотрел на те привязанности, которые уже успел приобрести в жизни; я говорил и думал, что ежели бы умерли даже самые дорогие мне люди, я и тогда бы не страдал и старался бы тотчас же утешиться и забыть. При таком настроении было писано письмо, которое сообщил тебе Ан. Д., но с тех пор, как оно написано, во мне много изменилось. Я стал сомневаться и наконец совсем отвергнул вечность собственной личности, и потому жизнь, как я себе ее вообразил, показалась мне сухою, бесцветною, холодною. Мне нужны теперь привязанности, нужны случаи, в которых могли бы развернуться чувства и преданность, нужно теплое, разумное самопожертвование, над которым я так жестоко смеялся несколько дней тому назад… Я нахожусь теперь в каком-то мучительном, тревожном состоянии, которого причин не умею объяснить вполне и которого исхода еще не знаю”.

Письмо заканчивается стоном:

**“Мама, прости меня, мама, люби меня!”**

Вот другой отрывок:

“Ради Бога, мама, прости меня, напиши ко мне. Ты не можешь себе представить, до какой степени тяжело чувствовать себя одиноким, отчужденным от тех людей, которых любишь

> очень сильно и перед которыми глубоко виноват. Ты бы пожалела обо мне, друг мой мама, если бы знала, как я жестоко наказан за свою самонадеянность, за свой грубый эгоизм. Я себе сам противен, потому что вижу, что когда мне везет, я подымаю голову, когда является несчастие, я падаю духом и прошу утешения у всех, кто меня окружает. Так случилось теперь. Пока ты бьиа нежна со мною, я не понимал и не ценил тебя, увлекаясь разными личными видами и планами, которым, вероятно, никогда не сбыться… Теперь, когда ты решительно отказалась от меня, отталкиваешь меня, мне делается так страшно и больно. Я начинал к тебе четыре письма и ни одного не решился отправить: в каждом из них слишком мрачно выставлялись мои опасения за себя и мой взгляд на будущее…”

“Теперь, когда ты решительно отказалась от меня, когда ты отталкиваешь меня”. Мать никогда от Писарева не отказывалась, никогда его не отталкивала. Но в эту тяжелую пору в нем возникло болезненное недоверие, мучительная подозрительность, совершенно несвойственная его характеру. Некоторого охлаждения к себе товарищей Писарев, действительно, не мог не заметить, но он преувеличивал его. Он был убежден, что все окружающие обвиняют его в каком-то гнусном преступлении, что его щадят и потому не высказывают, в чем именно дело, а только с презрением отворачиваются от него, не давая ему даже возможности оправдаться. Он ловил с изумительной, болезненной зоркостью и наблюдательностью каждую мелочь, не имевшую, в сущности, никакого значения, принимал ее к сведению и истолковывал со своей точки зрения как новое подтверждение владевшей им мысли, всеобщим к нему презрением и всеобщей враждой…

Ходят, например, друзья (Писарев и Трескин) в сумерках взад и вперед по тесной, низкой чердачной комнате, служившей им и рабочим кабинетом, и спальной, и приемной, – Трескин, чтобы не сталкиваться лбами в потемках, разумеется, свертывает в сторону… Писарев садится на диван и томительно задумывается: “да, теперь уж нет никакого сомнения, что он чувствует ко мне непобедимое отвращение и не хочет даже встречаться со мной на одной половице…”

Вскоре Писарева посадили в карету и отвезли в психиатрическую больницу, где он и пробыл 4 месяца.

Если я так подробно остановился на кризисе, который пришлось пережить Писареву, то для этого у меня были свои основательные

причины.

Мне хотелось прежде всего показать, что каждое свое убеждение Писарев брал с бою, грудью, искупая его ценою невыносимых душевных страданий, которые довели его даже до помешательства. Следовательно, приличие – хотя бы только приличие – требует, чтобы с прозвищами “верхогляд”, “холодный эгоист” и прочими, которыми награждали Писарева его противники, было покончено. Это – во-первых. А во-вторых, если еще и теперь самый талант Писарева, его литературное красноречие, его вдохновенные приемы борьбы, его насмерть бьющие быстрые полемические удары поражают своей свежестью и правдивостью, – то разгадку этого ищите в глубине перенесенных им страданий.

Жизнь, как мы это увидим, не дала ему личного счастья, но наградила многими талантами. Из этих талантов мне бы хотелось на первом плане поставить талант правды. Читая произведения Писарева, вы видите, что высказанное им – сказано из глубины души, а это чего-нибудь да стоит. Можете не соглашаться с ним, можете опровергать его, но не забывайте только, что в лице Писарева говорит с вами сама действительность, сама искренность.

В этом дивная красота его сочинений.

Если он ошибался, то лишь как человек, ищущий истины. Такая ошибка заслуживает полного уважения. Но есть ли во всех его “Сочинениях” хоть одна фраза, которая не была бы выстрадана и куплена ценою душевных мук, – есть ли там фраза, вызванная посторонними соображениями, словом, “проданная” фраза? Над этим стоит подумать.

Искренность и правда – вот основа и украшение всякого таланта. Где иначе может он найти свою непреодолимую силу, свое очарование, свою красоту, как не в этой искренности? В ней есть обаяние, и чувствовать ее может всякий, кто не испорчен в самом корне своем.

В детстве Писарева звали “хрустальной коробочкой”. Он не умел скрывать ничего, что было у него на душе, не умел утаивать ни мысли, ни чувства. Таким остался он на всю жизнь, таким является он нам в своих статьях. Это правдивый, в высшем смысле этого слова, писатель, который даже ради благородных целей не согласился бы покривить душой. Говорю, что думаю, говорю то, что выстрадано мной, что приобретено мною собственными усилиями, что пережито мною. Таков его девиз. В его миросозерцании, по-моему, нет ничего отвлеченного, нет ничего такого, что “пахло” бы книгой или посторонним влиянием. Все его теории не больше и не меньше как продукт тех жизненных влияний и столкновений, которые ему пришлось испытать. В них как нельзя более полно отразились

его натура, характер, счастье и неудачи его бытия. Его статьи в этом смысле могут считаться лирическими, потому что в них все субъективно до последней степени, и за каждой фразой вы легко можете различить какое-нибудь жизненное столкновение.

Мне думается, что в этом-то и заключаются главная красота и очарование произведений Писарева. Что более ценно, как не возможность проникнуть в глубину души другого, тем более большого человека, – узнать, как он страдал и любил, как верил и сомневался, и притом знать, что каждое сказанное слово сказано из-за насущной потребности излить всю душу свою?

Общение с искренней натурой делает нас самих чище и нравственнее. Карлейль уверял, что говорить правду – это такое счастье, которое выпадает на долю очень и очень немногих избранных натур.

Мы на ложь обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Мы – это громадное большинство человечества – большинство, которое к тому же возрастает с быстротой, способной привести в ужас. Мы лжем на каждом шагу из вежливости и приличия, из-за страха, из-за выгоды, из-за самолюбия, лжем поразительно много и часто. В этом случае мы – настоящие виртуозы: мы даже способны обманывать самих себя, и иллюзия играет в нашей жизни гораздо большую роль, чем действительность. В этом-то и горе наше, что мы никак не можем быть тем, что мы есть на самом деле, и всегда стараемся казаться. Из сотни людей 99 не сумеют рассказать своей жизни, не прикрасив ее, не обелив самих себя, не очернив других. Таков уж роковой узел. Как это ни грустно, но необходимо иметь “талант правды”, а, как всякий талант, это – большая редкость.

Писареву он был присущ в высшей степени. В его статьях есть ошибки логические, научные, зато нет ошибок в истолковании того жизненного опыта, который выпал на его долю, нет ошибок, вызванных сторонними соображениями. Он говорит вам, что духовные наслаждения выше всего, и на самом деле для него это было так, и только благодаря этим духовным наслаждениям ему думалось сравнительно спокойно перенести пять лет одиночного заключения. В его теории эгоизма вы видите ясное отражение

его резко выраженной индивидуальности и той борьбы, которую ему пришлось вынести, защищая свою любовь. Пылкость и страстность его натуры и вместе с тем ее художественная полнота создали пылкий и страстный, и вместе с тем художественный стиль.

Словом, можно верить каждой фразе, вышедшей из-под пера Писарева. Он всегда говорил правду, его мысль срослась с действительностью, а его критические статьи – история его души.

Правдивая и искренняя мысль его никогда не шла ни на какой компромисс, ни на какую уступку. Глядя на собрание своих сочинений, он смело мог сказать, что ни разу не покривил душой и что каждое слово, сказанное в них, заработано собственным опытом, собственными страданиями и радостями. У него было глубоко развито чувство самоуважения, которое не позволило бы ему говорить с чужого голоса, еще больше были развиты та смелость и гибкость мысли, которые характеризуют действительно талантливую натуру. Он верил в себя, потому что инстинкт подсказывал ему, что можно верить, потому что мысли его исходили из первоисточника, т. е. из жизненного опыта.

Полагаю, что правдивость Писарева как таланта, та свобода и смелость, даже задорная (иногда) смелость, с какою он высказывал свои убеждения, имела еще и немалое философское значение. Ведь талант, желающий сохранить свою силу до конца во всей его свежести и неприкосновенности, не может быть ничьим рабом – ни успеха, ни золота, ни даже партийных расчетов, как бы широки они ни были. Дух покровительства – его исконный враг, с которым он без устали борется на протяжении всей европейской истории. Всякий, я думаю, помнит прекрасные страницы, посвященные Боклем духу покровительства во Франции. Проследив за всеми отраслями интеллектуального труда, Бокль неопровержимыми фактами доказывает, что век Людовика XIV был не золотым веком литературы, науки и искусства, а, напротив, веком их упадка: то был век нищеты, нетерпимости и притеснений, то был век рабства, позора и бездарности. Причина этого заключалась в правительственном покровительстве, в желании подчинить науку, искусство и литературу правительственным целям. Никогда писатели не были вознаграждены с большей щедростью, чем при Людовике XIV, и никогда они не были так низки духом, так раболепны, так положительно неспособны к выполнению своего великого призвания апостолов знаний и проповедников истины. Для того чтобы приобрести расположение короля, даже самые знаменитые писатели жертвовали независимостью духа. Естественным следствием этого было измельчание и раболепие духа, а

затем унижение страны, что именно и случилось с Францией Людовика XIV…

Драма талантов (в этом случае трудно было бы подыскать другое слово), разыгравшаяся в царствование “короля-солнца”, почти никогда не снимается с репертуара всеобщей истории. Не повторяется ли она ежеминутно и в наши дни? Одни таланты впадают в лицемерие и нетерпимость, связанные интересами партии, к которой они принадлежат. Но это зло еще искупается, хотя бы отчасти, той пользой, которую может принести талант, раз партия, к которой он принадлежит, преследует гуманные цели. Гораздо большее, ничем не вознаградимое несчастье заключается в том, что талант, работающий теперь в области искусства, науки, литературы, является как бы подкупленным с первых же шагов своей литературной или художественной деятельности. Деньги, захватив все блага мира, завладели и областью искусства. На кого работает журналист, художник, скульптор, музыкант, для кого пишутся кантаты и симфонии, для кого рисуются картины и высекаются статуи из мрамора? В громадном большинстве случаев только для тех, кто может платить. Одна литература благодаря дешевизне типографского дела старается приподнять кое-где лежащее в грязи и унижении знамя гуманности и свободы духа. Почти все остальное принуждено холопствовать и приспосабливаться, и разве это приспособление не драма, – как бы ни происходило оно, со скрежетом ли зубовным, или веселием изничтожившегося в житейской борьбе сердца?

Истинное назначение таланта заключается совсем не в том, чтобы приспосабливаться, а как раз наоборот, – в том, чтобы приспособлять. Талант – сила преимущественно организующая. Он один выступает на сцену со своей ясно осознанной, идущей от глубины души и жизненного опыта, идеей. Грандиозная смелость и вера в самого себя нужны для этого. Невыносимо трудно возвыситься над массой, и не только трудно, а просто страшно. Всякое может случиться. Поймут тебя или нет? Оценят ли тебя и захотят ли оценить? Прав ли ты сам? Кричать с толпой, опираться на мецената выгоднее и безопаснее. Различные беды в виде ненависти врагов и отступничества друзей, проклятия близких грозят смелому человеку за его новшества. Для борьбы со всем этим нужен запас больших сил. К счастью для таланта, смелость и искренность оказывают притягивающее, чарующее впечатление на людей. На его сторону становятся – поздно ли, рано ли – все те, кто смутно сознавал высказанное им, кто в его словах, его картине, его звуках нашел воплощение своим затаенным стремлениям. Но “все же в поте лица своего будете родить новую мысль и высказывать новое

слово, в поте лица и страданиях сердца”.

Мы видели, что Писареву пришлось пожертвовать семейным спокойствием и привязанностью товарищей, чтобы заработать право идти своей дорогой. Принцип, вынесенный из житейской борьбы, он перенес и в литературу; ничто и никогда не могло заставить его поступиться своей мыслью, раз он считал ее истиной. Ей он готов был принести в жертву и свои личные привязанности, и даже интересы той партии, которой в душе он не мог не сочувствовать. Истина выше всего и дороже всего, какою бы она ни была. Пусть даже она жестока, обидна, но она должна быть высказана, а там – что будет. Своими лучшими статьями он не столько учил публику, сколько приучал ее думать и анализировать. Он являлся всегда перед нею во всей цельности и непосредственности своей натуры, не скрывая ни одного нюанса своей мысли, ни одного оттенка своего настроения. Он мечтал не о том, чтобы иметь около себя толпу преданных, готовых идти, куда прикажете, рабов, а людей, сознательно стремящихся к той цели, которая им в жизни дороже всего.

Мне кажется, что это единственное условие, при котором могут существовать истинная литература и истинное искусство. Их “растление” начинается лишь с того момента, когда ложь в том или другом виде, вызванная какими бы то ни было посторонними соображениями, вторгается в их область. Талант свободен, когда он безусловно откровенен, полнота его свободы – полнота искренности. Раз он служит чему бы то ни было и во имя этого служения налагает на себя какие бы то ни было стеснения и обязательства, он теряет лучшее, что в нем есть. Самое большее, что он может сделать, – это выразить себя и свою сущность, каковы бы ни были они.

“Лишь безусловная свобода порождает истину” – таков философский принцип деятельности Писарева.

# ГЛАВА VI

Выздоровление. – Восторги любви. – Начало сотрудничества в “Русском слове”. – Г.Е. Благосветлов. – О влиянии Благосветлова на Писарева. – “Уличные типы”. – “Идеализм Платона”. – Кандидат университета. – Воинствующий эгоизм

Фантасмагория длилась четыре месяца. Писарев, как больной, страдавший dementia melancholica, пользовался довольно значительной свободой в стенах лечебницы, за ним мало следили, хотя после двух попыток самоубийства изолировали его, т. е. подвергли чему-то вроде одиночного заключения, что довело его до скрытого озлобления и отчаяния и еще более утвердило в решении бежать во что бы то ни стало.[17] Воспользовавшись благоприятным случаем, он действительно убежал из больницы, выпрыгнув через окно.

Он вернулся в семью Трескина, где жил после разрыва с дядей, и тут немедленно же было решено отвезти его в Грунец на лоно природы. Сам старик Трескин, горячо любивший Писарева, сопровождал его в деревню.

Вот, заметим кстати, еще одно доказательство безусловной искренности натуры Писарева и того очарования, которое он производил на окружающих своей правдивой смелостью. Старик Трескин принадлежал к числу последних могикан отживавшего поколения. Он был из тех цельных, железных характеров, которые почти вывелись в нашем дряблом поколении, страдающем и бледностью мысли, и вялостью воли. Он обладал серьезным, самостоятельно приобретенным научным образованием, страстной любознательностью, не исчезнувшей даже в глубокой старости, любовью к чтению и колоссальной памятью. Одной из преобладающих черт его натуры была суровая, щепетильная честность, благодаря которой он не раз наживал себе врагов и восстанавливал против себя сильных мира сего. Закончив свою служебную карьеру и засев в своей квартире, как медведь в берлоге, старик мог с гордостью сказать себе и детям, что ни разу не покривил душою и не склонял своей гордой головы перед неправдой. Все в нем было сильно и крупно, все порывисто и неожиданно; самодур и деспот в семье, гнувший на колена все ему подвластное, заставлявший трепетать каждого, кто подходил к нему, – словом, честный “николаевец” – он, однако, был способен и на нежность, и на великодушие. Писарев как-то приглянулся ему. Старик увидел в нем ту же цельность и прямоту натуры, ту же готовность резать правду, не обращая внимания на сторонние

соображения. Среди безгласной, вечно испуганной семьи Писарев один смело возвышал голос, не уступал старику ни шагу, грызся с ним зуб за зуб и спорил совершенно как с равным. Первое время старик с непривычки свирепо сдвигал брови и сверкал глазами, выслушивая возражения, но молодая искренность Писарева одолела, и “лютый зверь укротился…”

Возвращаюсь к рассказу. Воскресшего из мертвых Писарева встретили в деревне с распростертыми объятиями, и здесь, среди ласки и внимания, на подножном корму больная душа быстро поправлялась. Все старое проснулось с новой и большей силой, как после грозы, – проснулась любовь к кузине, проснулась страстная потребность труда.

Обновленная душа жаждала красоты и наслаждения. Этот период времени был для него моментом самого страстного увлечения эстетикой: он зачитывался вдохновенными статьями Белинского, немецкими эстетиками и проникся особенно нежной любовью к А. Майкову, в котором особенно ценил проповедь гармонического наслаждения жизнью. Перед нами чистый эпикуреец, желавший дышать полной грудью и умевший дышать ею.

Он переводил “Мессиаду” Клопштока, но уже и в это время любимым его поэтом был Гейне – привязанность, навсегда сохранившаяся у Писарева. “Атта Троль” переведена им.

Как бы желая подавить его избытком счастья, и судьба в это же блаженное время 1860 года написала целую идиллическую главу его романа. Кузина наконец милостиво согласилась принять его предложение, и Писарев был твердо убежден, что теперь-то он будет полным обладателем своего сокровища.

Кузину он любил до обожания, со всем пылом первой страсти, восторгался каждым ее движением, видел откровение в каждом ее слове, а ее маленький, только что появившийся, рассказец провозгласил перлом искусства и эпохой в русской литературе.

Немудрено, что будущее рисовалось в самом радужном свете. Твердо убежденный, что все его переводы оценятся на вес золота, он не видел никаких материальных препятствий к женитьбе тотчас же по окончании курса, т. е. осенью 1861 года. Далее, рассчитывая зарабатывать вместе с будущей женой литературным трудом много… очень много, он видел уже себя богатым человеком, мечтал выкупить милое Знаменское, где родился, проводить в нем лето, как в увеселительном замке, выстроив там предварительно новый, изящный дом, для которого Раиса даже рисовала планы, а зимой – жить в Петербурге, окружив себя всевозможным комфортом и самыми утонченными эстетическими наслаждениями. Он

мечтал сгруппировать в своем салоне цвет мыслящей аристократии, мечтал видеть центром, душой этого избранного кружка, светилом первой величины – свою жену, которая, разумеется, займет первое место в литературе… Гражданская струна еще не просыпалась в нем, и вместо нее перед нами – ликования интеллигентного эстетика.

После здорового летнего отдыха Писарев задумал серьезно заняться литературой. “Рассвет”, заканчивавший в скромной безвестности свое литературное поприще, оказывался сферой слишком тесной для развившегося и окрепшего молодого дарования. Писарев обратился к Е. Тур, издававшей в то время “Русскую речь”, прочел ей несколько отрывков из своего разбора произведений Марко Вовчка и сообщил сущность своего литературного и гражданского миросозерцания. Талантливая писательница и умная женщина сумела оценить яркое дарование и сильный, живой ум Писарева, но сотрудничество его отклонила, найдя, что “юноша” слишком увлекается культом красоты и чистого искусства в своем наивном эгоизме и не признает, кроме личных, никаких других интересов в окружающей жизни. На прощание она предсказала ему скорый умственный переворот и плодотворную деятельность. Впоследствии Писарев с улыбкой вспоминал свое свидание с Тур, – пока же неудача нисколько не смутила его. Он крепко верил в свои силы и, имея в кармане свои переводы, а в сердце сознание, что кузина любит его, отважно и бодро смотрел вперед.

Дух времени и голос природы потянули его к журналистике. Припомним, что делалось тогда в этой области.

Еще никогда не бывало в России такой массы листков, газет и журналов, какая явилась в 1856–1858 гг. Издания появлялись, как грибы, хотя точнее было бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, так же много и исчезало. Одними объявлениями об изданиях можно было бы оклеить башню московского Ивана Великого. Издания были всевозможных фасонов, размеров и направлений, большие и малые, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные и научные, политические и вовсе не политические. Появлялись даже летучие уличные листки. Вся печать, вместе с официальной, доходила до 250 изданий.

Главными местами изданий, как и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербург. Петербургские издания следили преимущественно за интересами дня, за тем, что делалось в русском мире, за вопросами, которые намечались и разрешались. Петербургская печать была передовым и главным боевым полком. Она стремилась руководить, и не одним общественным мнением, а ставила иногда вопросы, если и не

опережавшие правительственную мысль, то пытавшиеся расчистить ей путь и, действительно, расчищавшие его. Москва больше теоретизировала и углублялась в основы русского духа. Как только явилась большая свобода и повеяло духом перемен, Москва принялась издавать славянофильские и полуславянофильские органы, объявила войну истории Запада и Петру Великому (конечно, вместе с Петербургом), и в поддержку “Русской беседе” Кошелева явился “Парус” Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный орган на западноевропейской “подкладке”, “Русский вестник”, основанный в 1856 году в умеренно либеральном направлении и сразу завоевавший популярность интересом и дельностью содержания. В Москве же издавался тогда критический журнал “Московское обозрение”, в котором участвовали только безымянные сотрудники, поставившие себе задачей полную свободу и независимость от авторитетов. Но духовный центр был не в сердце России, а в ее голове – в Петербурге, где начал издаваться и занял первое среди журналов место “Современник”. За “Современником” стояли “Отечественные записки” и “Библиотека для чтения”. Петербург не уступил Москве, а превзошел ее обилием и разнообразием новых органов. В Петербурге явился “Экономический указатель”, проповедовавший свободу торговли, неограниченную конкуренцию и личную земельную собственность; “Искра”, юмористический и сатирический журнал, основанный В. Курочкиным с целой компанией поэтов и юмористов; “Русский дневник” Павла Мельникова, а в 1858 г. “Русское слово” графа Кушелева.

Такое оживление журналистики совершенно понятно и естественно. Начать хотя бы с того, что фактически господствовала почти полная свобода печати. Свобода эта защищалась не столько законом, сколько общественным мнением, а такая защита – не из дурных. И само правительство, на первых порах, по крайней мере, ровно ничего против нее не имело: напротив, к журналистике оно относилось с большим, совершенно непонятным по нынешним временам, вниманием. Почему так было – мы знаем. Известно, что император Николай I всю жизнь думал об освобождении крестьян, но не мог решиться на это дело, не встречая сочувствия в приближенных. Но все же секретные крестьянские комитеты заседали один за другим и как бы по наследству перешли в новое царствование. Однако в первом секретном комитете при Александре II барон Корф высказал мнение, что полувековые попытки к освобождению крестьян из крепостного состояния оттого не имели успеха, что соображения истекали сверху, а не снизу, и что посему следует предоставить опытности и добрым чувствам дворянства выразить свое

мнение. Но не такое было время, чтобы ограничиться одним дворянством. Раз дело из секретного превратилось в явное, оно не замедлило стать общим. Правительство советовалось с обществом, а органом этого последнего была журналистика.

Быстро – потому, между прочим, что находилась в умелых руках – приобрела она такое положение, о котором прежде и слыхом не слыхали. Как общество торопилось жить, так торопилась работать и журналистика. Общество сознавало, что нахлынула новая волна переустройств, и спешило пересмотреть все без исключения старые устои своей жизни, и надо согласиться, что нельзя было не спешить. Ведь эти старые устои все целиком опирались на крепостное право, на даровой мужицкий труд. И вдруг крепостное право исчезает, унесенное как бы горным потоком. Уничтожить крепостное право – значило прорвать плотину. Естественно, что должна была обновиться вся жизнь с головы до пят, естественно, что вопросы о переустройстве возникали, как грибы. Писать книги, обобщать взгляды, систематизировать мнения было, повторяю, некогда, и журналистика приобрела первенствующее положение в деятельности русской интеллигенции. По своему практическому характеру она подходила, так сказать, вплотную к жизни, наскоро давала общие точки зрения и общие принципы, не выпуская из виду фактов действительности. Журнал стал истинной осью русской интеллигентной мысли.

Живую натуру не могло не потянуть в эту сферу, полную одушевления и кипучей работы. Не могли не соблазнять роль и положение журналиста. Позволю себе напомнить следующие любопытные строки из воспоминаний Н.В. Шелгунова.

> “Тогда, правда, и время было такое, что на пиру русской природы первое место принадлежало литератору. Никогда, ни раньше, ни после, литератор не занимал у нас в России такого почетного места. Когда на литературных вечерах (они начались тогда впервые) являлся на эстраде писатель, пользовавшийся симпатиями публики, стон стоял от криков восторга и аплодисментов и стучанья стульями и каблуками. Это был не энтузиазм, а какое-то беснование, но совершенно верно выражавшее то воодушевление, которое вызывал писатель в публике. И действительно, между тем временем, когда можно было рассказывать (и все верили), что Пушкина высекли за какое-то стихотворение, и 60-ми годами легла уже целая пропасть. Теперь писатель встал сразу на какую-то недосягаемую высоту. В

умчавшуюся пору, когда, по общему мнению, Пушкина можно было высечь, писатель не имел корней в обществе и по своим интересам был для общества недосягаем. Поэт и беллетрист услаждали тогда лишь праздный досуг, доставляли занимательное чтение, а вкусы и требования были еще настолько неразвиты, что известной части образованной публики трагедии Баркова были понятнее и выше “Полтавы” Пушкина. В шестидесятых годах, точно чудом каким-то, создался внезапно совсем новый, небывалый читатель с общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавший думать об общественных делах, желавший научиться тому, что он хотел знать. Когда можно было высечь Пушкина, у нас была только литература (Сенковский уверял, что у нас была тогда не литература, а только книжная торговля), теперь же явилась печать, т. е. литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель как творец этой литературы стал общественным учителем, воспитателем и пророком, открывавшим горизонты будущего, указывавшим идеалы и цели стремлениям. Отношения между читателем и писателем установились теперь вполне практические, осязательные, так сказать, земные, утилитарные; писатель перестал только развлекать праздный досуг, он стал наставником и учителем общественного строительства”.

Словом, “когда весь успех реформ зависел от общественного развития, нельзя было не ставить высоко тех, кто творил это развитие”.

Роль писателя была настолько живая и привлекательная, что было бы странно, если бы талант не соблазнился ею.

*

По приезде в Петербург Писарев прежде всего отправился в редакцию “Русского слова” – день знаменательный не только для него самого, но и для нашей литературы.

“Русское слово” издавалось тогда Кушелевым. Кушелев был граф, миллионер и чистокровный аристократ. Зачем, собственно, понадобилось ему иметь свой орган – неизвестно, разве что время было такое и к печатному слову даже титулованные особы чувствовали некоторое

пристрастие. Впрочем, сам Кушелев почти ничего не писал и в дела редакции вмешивался так же мало, как в управление собственными многочисленными поместьями. Познакомившись в Париже с Благосветловым, он попросил его взять на себя руководство журналом, на что Благосветлов и согласился. Мало-помалу все дела сосредоточились в его руках, а Кушелев в конце концов подарил ему “Русское слово” в вечное и потомственное владение. Что за человек был Благосветлов? Нам не мешает сейчас же ответить на этот вопрос, чтобы определить, какое влияние он имел или мог иметь на Писарева.

Разные люди смотрят на Благосветлова различно. Иные склонны видеть в нем исключительно гешефтмахера, человека не очень литературного, но умевшего эксплуатировать в свою пользу и общественное настроение того времени, и силы своих сотрудников, главным образом, Писарева и Зайцева. Другие, напротив, верят, что Благосветлов был человек искренний и что в “Русском слове” ему принадлежала крупная роль как организатору и вдохновителю. У меня лично нет причины ни распинаться за Благосветлова, ни ставить на нем крест, потому и буду говорить совершенно спокойно.

Литературного таланта у редактора “Русского слова” не было видно. Два тома его сочинений вялы и скучны, да и вообще Благосветлов писал плохо и не любил писать. Его работа была совершенно другой. Искренне ли он любил свой журнал или видел в нем средство верной наживы – вопрос трудный: надо полагать – и то, и другое; но, во всяком случае, он отдавал ему все свое время. Он добровольно возложил на себя крест корректора, редактора, предпринимателя и нес его с каким-то самопожертвованием. В редакции он просиживал дни и ночи, возился с сотрудниками, цензорами, типографией, вмешивался в каждую мелочь и, кроме своего журнала, не признавал ничего. Он читал только для “Русского слова”, писал только для него и из 24-х часов отдавал ему 18.

Как редактор он обладал одним несомненным достоинством: он был одарен чутьем на людей, умел сразу узнавать характер человека, сразу определять, полезен ли он или бесполезен для дела, умел группировать вокруг себя нужные силы и привязывать их к журналу. Успех в его глазах оправдывал если не все, то многое, и стоило только ему заметить, что тот или другой из сотрудников начинает пользоваться вниманием и сочувствием публики, как он с большим тактом немедленно же выдвигал его на видное место и предоставлял полную свободу. Но зато неудача была грехом в его глазах, и в этом случае, т. е. в отношении к неудачнику, сразу же проявлялась вся сухость и даже мелочность его натуры.

Из идей основательно воспринята была Благосветловым, строго говоря, единственная, именно эмансипация личности. Он долго жил за границей, был довольно основательно образован, и эта эмансипация представлялась ему панацеей от всех зол. Она – краеугольный камень его миросозерцания. Он пропагандировал ее усердно и постоянно готов был довести ее до крайности. В этом случае он оказывал на многих из своих сотрудников влияние, надо думать, значительное, только не на Писарева, потому что Писарев сам жизнью своей “заработал” ту же идею…

Рассказывают, что редакторская работа Благосветлова происходила обычно по ночам, среди полной тишины и одиночества. Благосветлов запирался на ключ в кабинете и начинал “править”. Правил он всегда в “специальном” духе. Надо заметить, что как человек сухой, замкнутый он никогда не имел возле себя близких людей, даже от семьи своей он держался вдалеке. Это одиночество, невольное, тяжелое, раздражало и мучило его тем сильнее, что он понимал полную невозможность для себя стать другим и зажить другой жизнью. И вот вся злоба, накопившаяся в течение дня, месяца, многих лет, выливалась в этом “правлении”. Вставлять “словечки”, злобные афоризмы, прибавлять яду Благосветлов был большой мастер, а тогда было такое время, что яд нравился.

Способность к усидчивому, кропотливому труду, неослабная, настойчивая энергия, чутье в выбирании нужных людей, немалый запас редакторского такта и словечки – вот, кажется, все хорошее, что было у Благосветлова. А кроме этого – хорошего мало.

Знающие люди уверяют, что в его натуре было что-то аляповатое, грубое, глубоко мещанское. Ни грации, ни изящества, ни даже сердечности. Это отражалось как в отношениях с людьми, так и в покрое его одежды, в обстановке квартиры, в тысяче других мелких подробностей его жизни. Разбогатев, он задумал убрать свой дом на широкую ногу, не пожалел денег на мебель, посуду и прочее, и все это вышло у него как-то по-купечески, без всякой красоты и изящества. Такое же “купеческое” было у него самодовольство, так же грубо хвастал он своим “капиталом”, нисколько не понимая, что человек, перед которым он хвастает, может не только не интересоваться этим, но и прямо обидеться. По-купечески рассчитывался Благосветлов и со своими сотрудниками, любил не доплачивать, и даже не из жадности, а из какого-то странного охотнорядского принципа, и вообще платил ужасно мало. Цвет и красота “Русского слова” Писарев получал всего по 50 рублей с листа, причем, надо заметить, по крайней мере, один из трех написанных им листов не шел по цензурным условиям, а Благосветлов платил лишь за напечатанное. По своей деликатности

Писарев денежных разговоров не поднимал, и, по полному отсутствию той же деликатности, Благосветлов все время продолжал платить по 50 рублей серебром, отговариваясь тем, что Писарев работает “очень легко”, что “в крепости расходов мало” и т. д.

Теперь, если мы примем во внимание, что Писарев стал работать в “Русском слове” почти в одно время с Благосветловым, что идея эмансипации личности была полностью разработана им, что в словечках и злобных афоризмах он не ощущал ни малейшей надобности, то к чему же, спрашивается, сводится влияние Благосветлова? К очень и очень немногому, если только к чему-нибудь, хотя сам Писарев это влияние признавал и даже отводил ему большую роль в истории своего духовного развития. Но это делалось преимущественно из вежливости и для показной солидарности. Для меня же несомненно, что на первых порах, по крайней мере, Благосветлов пытался разыгрывать роль ментора; очень может быть, что он заставил Писарева серьезно призадуматься над формулой чистого искусства, но все же не такой Писарев был человек, чтобы говорить с чужого голоса. Любая мысль должна была предварительно войти в его плоть и кровь, органически слиться со всем его миросозерцанием, и тогда только он принимался за ее пропаганду.

Благосветлов, отличавшийся приятной манерой “водить” наклевывавшихся новых сотрудников и сильно восстановивший против себя этим приемом всех, кому только приходилось иметь с ним дело, принял Писарева довольно свысока и взглянул на него тем более покровительственно, что юноша сообщил ему не без гордости о своем сотрудничестве в “Рассвете”. Но Писарев был неробкого десятка и, нисколько не смутившись олимпийским приемом, отдал Благосветлову “Атта Троль”, заломив при этом несообразную цену, совершенно развязно просил назначить день, когда он может прийти за ответом. Благосветлов стал тянуть и довел наконец Писарева до того, что тот потребовал или категорического ответа, или рукопись. Дело, однако, благополучно уладилось, и “Атта Троль”, проданный за 280 рублей, появился в “Русском слове” за 1860 год зимою.

Благосветлову можно отдать справедливость, что он “учуял” Писарева и через несколько месяцев предложил ему постоянное сотрудничество, сначала, впрочем, в отделе библиографии. Но очень скоро Писарев выступил со статьями “Уличные типы” и “Идеализм Платона”.

Забегая несколько вперед, посмотрим, в какую обстановку попал Писарев, сделавшись сотрудником “Русского слова”, и что за личности окружали его? Из этих последних на первом плане стоит Благосветлов,

которого мы уже немного знаем. В нем, несколько выше, мы отметили одну симпатичную черту понимания талантов, и это-то понимание и сыграло большую и плодотворную роль в жизни Писарева. Стоило Писареву только написать 2–3 статьи, как Благосветлов сделал его своим помощником по редакции и предоставил ему писать что заблагорассудится. Такое явное доказательство доверия не могло не подействовать вдохновляющим образом на юного литератора, на которого к тому же со всех сторон посыпались многочисленные восторженные похвалы и не менее многочисленные ожесточенные порицания. По поводу статьи Писарева “Схоластика XIX века” молодежь того времени решительно утверждала, что “теперь современная метафизика и мистика разрушены”, и после этой статьи стала смотреть на ее автора как на своего руководителя. Видя успех своего юного сотрудника, Благосветлов не мог не радоваться, потому что в 61-м году “Русское слово” только вставало на ноги и было малозаметным благодаря соседству “Современника”, где еще царил в то время дух Добролюбова и Чернышевского. Благосветлов сообразил, что пустое место в литературе, оставшееся после Добролюбова, незадолго перед этим погибшего от злой наследственной чахотки, может быть занято Писаревым, мощный литературный талант которого проявился сразу и быстро развертывался во всей своей широте. Так как скверное учреждение литературной табели о рангах не существовало в 60-х годах и писатели ценились по достоинству, то Писарев, несмотря на всю свою зеленую юность, не мог не удостоиться со стороны Благосветлова особенной ласки и особенного внимания. В продолжение целого года (1861–1862) они были на “ты” и почти неразлучны. Благосветлов играет роль ментора, борется со страстишкой Писарева к карточной игре и вместе с тем, желая доставить развлечение своему соредактору, устраивает для него преферанс “по маленькой”. Другие сотрудники “Русского слова” не могли смотреть на Писарева иначе как снизу вверх, хотя эти “другие сотрудники” не были лишены ни дарования, ни образованности.

Выделялся из них в то время особенно В. Зайцев, писатель, к сожалению, совершенно несправедливо забытый в настоящее время. Перечитывая его статьи в “Русском слове”, я не мог не убедиться, что это был человек с чутьем, понимавший, что было нужно для той минуты, когда он работал. Кроме перевода Лассаля, ничего крупного В. Зайцев после себя не оставил, но это не причина, почему бы нам не познакомиться с ним и его убеждениями поближе. Дело в том, что эпоха общественного возбуждения так глубоко волнует каждого причастного к совершающемуся движению, что даже дарование средней руки становится способным к ценному для

жизни прозрению. В некоторой степени оно было и у Зайцева. Писал он, как известно, главным образом, библиографические заметки, и эти заметки представляли из себя ценный аккомпанемент для статей Писарева. Если Зайцев и не высказывал оригинальных взглядов, то взглядов нужных и полезных он держался всегда твердо. Как и все сотрудники “Русского слова”, он был утилитарьянцем и последователем Милля, защищал эмансипацию женщин, и вместе с тем его трезвый, практический ум постоянно привлекал его внимание к экономическим вопросам, вся важность которых в то время скорее предчувствовалась, но не осознавалась. Зайцев обладал своеобразным, хотя и несколько грубоватым, остроумием, которым, надо сказать, подчас злоупотреблял. Но этого мы не поставим ему в вину, потому что писатели 60-х годов вообще не отличались изяществом. Лишь двое из них – Писарев и Добролюбов – никогда не грешили против правил литературного джентльменства. С публикой (это тоже было в духе эпохи) Зайцев обращался запанибрата, шутил с нею, как с близким родственником, любил такие выражения, как “подлость”, “мерзость”, “идиоты” и т. д. К Писареву он относился всегда искренне и почтительно, высоко ставил его дарование и спокойно уступал ему первое место. Особенно близки, впрочем, друг к другу ни Писарев, ни Зайцев никогда не были, и уж раз мы заговорили о сердечности, то за нею придется обратиться к другому сотруднику “Русского слова”, именно Н.В. Шелгунову, имя которого в восьмидесятых годах стало общеизвестным.

Н.В. Шелгунов не был крупной литературной силой и долгое время занимал второстепенное место в журналистике, но все недостатки его таланта искупались полной искренностью, сердечностью и чуткостью, с какой он относился к вопросам времени. Получив специальное образование лесничего, Шелгунов, охваченный массовым возбуждением, презрел улыбавшуюся ему карьеру чиновника и мужественно вступил на литературную дорогу, которой не покидал уже до конца своих дней. Среди хронической бедности и лишений Шелгунов ни разу не пожалел о своей измене лесничеству и департаменту, и вплоть до гробовой доски горел теми же чувствами, тою же любовью, которые одушевляли его в юные годы. Про эти свои юные годы он как-то заметил: “Я вернулся из-за границы еще в большем чаду, чем туда поехал. Но в этом чаду было много силы и самых лучших желаний. То был чад молодости, который зовется любовью”. Не претендуя на первое место, не зная язвы тщеславия, губящей теперь столько хороших людей, Шелгунов скромно занимался черной и невидной литературной работой, веруя в ее пользу и необходимость. Мягкий и добродушный, он легко сходился с людьми, да и вообще его тянуло к ним.

Рассказывая нам о шестидесятых годах, он с особенным удовольствием вспоминает о коллективной силе и коллективных стремлениях того времени. Его радует, что все хотели учиться и все хотели работать. Он утверждает, что с “такой коллективно направленной на благо силой можно было совершать чудеса и что несколько чудес действительно совершилось”. Пущенное им в оборот название “идеалист земли” ближе всего подходит к нему самому, и этот идеализм неизменно пребывал в его любящем и искреннем сердце. Хотя его собственная известность в шестидесятые годы совершенно утопала в лучах славы, окружавшей Писарева, он не завидовал, а даже радовался, что не перевелись на Руси большие и смелые люди.

О других сотрудниках “Русского слова” я не считаю нужным говорить и ограничусь лишь замечанием, что в их компании жить было можно и что если они не всегда симпатизировали друг другу как личностям, то в сообществе писателей составляли дружный и выдержанный хор. Историк журналистики помянет их когда-нибудь добрым словом.

В общем, заметим, что благодаря, главным образом, статьям Писарева “Русское слово” представляло из себя отдельную, ярко очерченную литературную группу, поставившую на своем писательском знамени девиз: “свобода личности”. Эта-то свобода и борьба с духом крепостничества в области чувств, идей и убеждений и давала “Русскому слову” право на самостоятельное существование. Проникнутый рационалистическим духом, журнал этот все задачи времени сводил, главным образом, к просвещению масс и демократизации наук.

То и другое было вместе с тем и краеугольными камнями миросозерцания Писарева.

Университетский курс между тем приближался к концу.

“Я, – рассказывает Писарев, – почти не ходил на лекции, но работал сильно. После приезда с каникул я решился писать диссертацию на медаль, на историческую тему, заданную Иронианским.[18] Предприятие было дерзкое. Тема была задана в начале февраля, в то время, как я еще отрицал солнце и луну; кто писал на эту тему, тот принялся за работу тотчас же после объявления задачи, а я начал изучать предмет диссертации в начале октября, между тем как все сочинения должны быть представлены никак не позже первых чисел января. Месяц был употреблен на чтение и выписки, а в ноябре я принялся писать. Дело пошло быстро и успешно, отчасти на живую нитку, кое-где на авось, с широкими взглядами и рискованными обобщениями. Я писал без черновой, потому что переписывать было бы некогда, и старался обработать предмет так, чтобы произведение мое могло

быть помещено в каком-нибудь журнале. К началу января я кончил свой труд и заметил не без удовольствия, что в нем, по крайней мере, 15 печатных листов. Впрочем, недостаток времени помешал мне развить некоторые мысли, которые были уже совсем выработаны в моем уме; делать было нечего: я махнул на них рукою, написал на своей диссертации эпиграф “еже писах, писах” и представил ее, куда следует”.

“Еже писах” оказалось, однако, произведением настолько блестящим и талантливым, что Писареву присудили серебряную медаль, но многие из профессоров требовали для него золотой. Но золотая досталась его конкуренту Утину “за обстоятельность и основательность”. Писарев со спокойным сердцем удовлетворился и серебряной, тем более что работа была зачтена ему за диссертацию. Чтобы закончить с “Аполлонием Тианским”, скажем, что редакция “Русского слова” открыла для него страницы своего журнала и выплатила Писареву что-то рублей 600.

Весной 1861 года университетский курс Писаревым был закончен, и притом не формально закончен, но и по существу. Писарев махнул рукой на свои юношеские мечты о профессуре, о чистой науке и весь с головой погрузился в журналистику. С этих пор и надолго журналистика – его пища духовная, смысл и красота его умственного бытия. Связь со старыми товарищами оборвалась…

“Русское слово”, – рассказывает он, – было преисполненно суеты и гордости, и благонравные товарищи мои, состоявшие уже на действительной службе, бросили на меня прощальный взгляд, полный укора и сожаления, когда увидели, что я беззаботно и весело пошел по скользкому пути журналиста. На статьи мои они смотрели с глубоким презрением, меня самого они решительно и откровенно исключили из своего круга. О читатель, и это неправдоподобно, но и это правда. Они считали меня ренегатом, маленьким Брамбеусом, недостойным сыном университетской науки, обратившимся против родной матери, и, надо сказать правду, они не ошибались в этом отношении. Мог ли же я ожидать после этого себе помилования? Вижу и понимаю, что мои товарищи, бывшие филологи – люди честные и умные, вполне достойные уважения и сочувствия, но вижу также, что мне с ними уже не сойтись. Им предстоят две дороги, и ни на одной из этих дорог я не встречусь с ними. Они могут продолжать с успехом свою службу в разных департаментах и сделаться через несколько лет просвещенными администраторами; или они могут осуществить свою университетскую мечту – сделаться светилами общественной науки. Очевидно, что журналист, исполненный суеты и гордости, ни администратором, ни светилом быть не может; очевидно даже,

что он и знакомства водить не может ни с администраторами, ни со светилами, потому что он им совсем не пара, стоят они на разных плоскостях, живут в разных мирах, смотрят на вещи с различных точек зрения и приходят разными путями к противоположным выводам и результатам. Стало быть, мне остается только, вспоминая о моих добрых и честных товарищах, послать им на этих страницах последнее дружеское прости и уверить, что я, со своей стороны, всегда готов и рад с ними сойтись и что в то же время я не вижу к тому ни возможности теперь, ни надежды – в будущем”.

Следовательно, alea est jacta.[19] Университетский Рубикон перейден и впереди – сознательно и радостно избранный скользкий путь журналиста. Разумеется, разрыв с товарищами, особенно с Трескиным, не мог не доставить Писареву многих тяжелых минут, и сколько горечи в его шутливых словах: “Литератор не может даже знакомства вести с администраторами и светилами”, тем более что Трескин действительно грубо отказался вести знакомство с Писаревым после первых же статей последнего в “Русском слове”, – но все же Писарев был бодр и радостен духом: будущее улыбалось ему.

Даже амурная канитель с кузиной шла довольно благоприятно, но так как нового в этой канители пока еще ничего не случилось, то гораздо любопытнее остановиться на одном из писем Писарева к матери, где он оправдывает свою возлюбленную от упреков в безнравственности.

> “Раиса живет у Ан. Д., потому что нигде она не может жить до такой степени свободно и сообразно со своими желаниями и наклонностями. Она окружена мужчинами – это правда, но она любит общество мужчин гораздо больше общества женщин, потому что при теперешнем состоянии общества умных и развитых мужчин гораздо больше, чем умных и развитых женщин. У Раисы каждый день бывают Гарднер и Хрущев; я нахожу это совершенно законным, во-первых, потому что вижу, что Раиса приятно проводит с ними время, во-вторых, потому, что мне самому с ними весело. Что касается до qu'en dira-t-on, то я никогда не сделаю ни шагу, чтобы изменить о себе мнение света в ту или другую сторону, за исключением того случая, когда это мнение может принести мне какие-нибудь существенные выгоды и наслаждения. Могу тебе поклясться, что между этими людьми у Раисы нет любовника, а если бы и был таковой, то ни ее отец, ни ты, ни я не имеем права вмешиваться в ее дела. Selon mes

convictions la femme est libre d'esprit et de corps et elle peut disposer de sa personne sans en rendre compte même à son mari. Si une femme, qui pouvait jouir de la vie, ne l'a pas fait, il n'y a pas de vertu la dedans, une telle conduite est un resultat d'une masse des préjugés qui génent et qui produisent des e mpechements inutils et imaginaires. La vie est belle et il faut en jouir, c'est sous ce point de vue que je la considère et que je trouve bon et juste, que chacun règle sa conduite sur cette belle maxime”.[20]

Взглядам на женщину, изложенным в этом письме, Писарев остался верен всю свою жизнь. Это – та же эмансипация личности.

Характерна, между прочим, фраза: “жизнь прекрасна, нужно ею наслаждаться, и я нахожу справедливым, чтобы каждый руководился в своем поведении этим прекрасным правилом”. Ясно, что и в статьях, и в письмах, и в разговорах Писарев проводил в это время те же взгляды эпикурейского эгоизма. Он чувствовал себя молодым, бодрым, полным сил, вся жизнь сосредоточилась для него в одной его собственной личности, и он знать не хотел ни долга, ни обязательств, ни “расплаты”… Откровенно писал он матери:

“Было бы, конечно, изящнее с моей стороны, если бы вместо того, чтобы разбрасывать деньги, я ими помогал семейству, как это делает, например, Трескин. Но у меня нет этого влечения; чем больше я вглядываюсь в себя, тем более убеждаюсь в том, что, кроме Раисы, я никого не люблю. Все остальные люди, ты, Верочка, папа, Благосветлов, Жуковский, доставляют мне больше или меньше удовольствия, и я сообразно с этим люблю с ними бывать”.

В эгоизме Писарева за этот период есть что-то молодое, вызывающее, воинствующее. Он несколько даже бравирует им. “Для меня, – пишет он другой раз, – каждый человек существует настолько, насколько он приносит мне удовольствия. Это не теория, это не фраза, это самая откровенная исповедь. Как я перестаю видеть человека, так он перестает существовать для меня на время разлуки”.

Писарев часто говорил о том, что он живет лишь настоящим, и оттого счастлив и бодр всегда, а свою теорию эгоизма высказывает матери с жесткой откровенностью. Такой была его натура, что он ни во имя чего, ни ради чего кривить душой не соглашался, а говорил по настроению.

Настроение же было воинствующее, эпикурейское. Но уже и в это время оно начинало “расширяться” и принимать в себя новые элементы, за развитием которых мы будем следить с особенной тщательностью. С этой точки зрения любопытно хотя бы вкратце познакомиться с его статьей “Схоластика XIX века”… В общих чертах я напомню ее читателю.

Но пока одно маленькое замечание. Эгоизм Писарева столько раз вызывал благородное негодование, что это наконец надоело, почему я и питаю надежду, что читатель благоразумно воздержится от него и прочтет нижеследующие страницы, где тот же эгоизм является перед нами совершенно в другом виде. Однако из песни слова не выкинешь, не выкинешь и из истории умственного развития Писарева целого периода, когда он, следуя настроению – несколько теоретическому, во всяком случае, – является перед нами в образе ликующего эпикурейца, которому, действительно, сам черт не брат. Как идея эмансипации личности и абсолютной ее свободы запала в душу Писарева – мы знаем, но он не просто развивал ее, он утрировал ее, доводя до абсурда. Многое повинно в этой утрировке… Повинны прежде всего те пеленки, в которых держали его в годы детства и юности, и чем туже были затянуты эти пеленки, тем энергичнее должны были быть телодвижения человека, освободившегося от них; повинны 20 лет и инстинктивное сознание собственной могучей силы, твердо веровавшей, что она горы с места сдвинет; повинен аналитический склад ума, доводивший каждое положение до последних результатов, хотя бы эти результаты заканчивались глухим переулком.

Впрочем, даже в минуты наиболее сильного, воинствующего увлечения, ничего “лохматого” не было в эгоизме Писарева. Следуя своему приему, я обращаюсь к письмам Писарева и в одном из них укажу на нижеследующее изложение эгоизма, порядочность и осмысленность которого должны признать все не зараженные ханжеством или нравственным сплином.

> “Любить свою личность, – пишет Писарев, – и наслаждаться уважением к самому себе – это самый чистый, самый законный и самый высокий источник радости. Ты, мама, сама думаешь в этом отношении совершенно так же, как я, только на твоем языке эти вещи называются иначе: они называются наслаждаться спокойствием совести, и ты вероятно согласишься, что ставить это наслаждение выше всех прочих – вовсе не есть признак дурного воспитания. То, что ты называешь совестью, и то, что я называю рассудком, в сущности одно и то же; только второе ясно

и сознательно, а первое туманно и инстинктивно. Я действительно люблю и уважаю самого себя; принято думать, что это нехорошо, а ты повторяешь принятое мнение, отчасти для того, чтобы дать мне маленькую нахлобучку. Но почему же нехорошо? Разве эта любовь к себе, дающая возможность переносить весело то, что обыкновенно считается несчастьем, разве эта любовь заставляет меня засыпать на лаврах, разве она мешает моему дальнейшему развитию? Разве я воображаю себя, например, великим писателем, которому не надо учиться, читать, работать над самим собой? Да, чем больше я себя люблю, тем больше я забочусь, чтобы развернуть свой ум до последних пределов. Каждый успех мой всегда заставлял меня работать вдвое сильнее и вдвое успешнее прежнего. Я рассуждаю так: если у меня есть ум, талант, энергия, то глупо же будет, если я не сумею воспользоваться этим добром, а пользоваться им – значит, во-первых, беречь свое здоровье, во-вторых, развивать свои способности хорошим чтением и, в-третьих, работать как можно усерднее, честнее и добросовестнее. И чем больше я замечаю в себе хороших способностей, тем строже я становлюсь к своей работе, хочу делать ее не спустя рукава, а во всю силу.

Неужели ты во всем этом найдешь что-нибудь дурное? Потом еще принято думать, что человек, который очень любит и уважает самого себя, должен непременно стараться о том, чтобы возвыситься над другими и вследствие этого должен непременно оскорблять других своим самолюбием. Ты меня знаешь; ну, скажи же мне по чистой совести, старался ли я когда-нибудь стать выше других?…”

# ГЛАВА VII

“Схоластика XIX века”. – Умственный демократизм. – Быстрые успехи. – Новая глава романа. – Трагический эпизод

Дебюты Писарева в “Русском слове” были удачны. Но особенно много разговоров, толков и споров возбудила его статья “Схоластика XIX века” (март 1861 г.). Надо, впрочем, заметить, что сам Писарев относился впоследствии очень пренебрежительно к своей “Схоластике”.

“Мою схоластику, – говорит он в письме к матери, – я в 61– м г. писал положительно по слухам, о нашей литературе и критике я не имел почти никакого понятия, и удивляюсь теперь только двум вещам: во-первых, как я не наврал там еще больше чепухи, и, во-вторых, как те серьезные люди, которые писали об этой статье, не разобрали, на каких жидких основаниях она построена” (1864).

Писарев несколько преувеличивает дело. Что он в то время не знал ни литературы, ни критики – это несомненно, но в “Схоластике” – зародыш его будущих “Реалистов” и вообще самых ярких его статей. Кстати, надо заметить, что эта же “Схоластика” дала ему вполне определенное место в журналистике.

Прежде всего, Писарев говорит об обязанностях литературы: “литература во всех своих видоизменениях должна бить в одну точку: она должна всеми своими силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремления к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны”.

Но вместо этого – несмотря на то, что перед литературой стоит такое важное, живое дело, как эмансипация личности, – она занимается собственными кружковыми интересами, посвящает публику в нисколько не интересные ей литературные распри, а к вопросам жизни, науки, искусства подходит как-то робко, с оглядкой. Надо быть не только ближе к действительности, но и питаться ею, волноваться ею, изучать ее и освещать ее. Но “жизнь идет мимо литературы, а журнальные теории одна за другою сдаются в архив и умирают”. Современная же критика грешит именно тем, что она задается теориями и изобретает жизнь вместо того, чтобы приглядываться и прислушиваться к звукам окружающей действительности.

И для кого существует литература? Для незначительного кружка избранных, так как господа литераторы не желают спуститься до той требующей умственной пищи части общества, которая стоит на рубеже между народом и интеллигенцией, и “как будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаний сверху вниз”. Словом, средние и низшие слои интеллигенции игнорируются журналистикой. Как же подойти к ним, как же сблизиться с ними? Для этого, прежде всего, надо стоять на почве практической деятельности, на почве факта, надо почаще прибегать к здравому смыслу вместо отвлеченных и книжных теорий.

“Не будем, – продолжает Писарев, – обманывать самих себя; ведь мы должны писать для общества, следовательно, должны заниматься тем, что всем доступно и всем должно принести пользу. Какой-нибудь общественный скандал в данную минуту интересует публику гораздо больше, нежели решение вопроса о том, существуют ли у нас западники или славянофилы: по поводу этого общественного скандала вы можете развить несколько светлых идей и заронить в ваших читателях кое-какие задатки развития и движения вперед. Спрашивается, по какому же побуждению вы не воспользуетесь этим случаем? Потому, скажете вы, что не желаете уронить достоинство идеи, не желаете вмешаться в толпу крикунов, свистунов и пр. Что за щепетильность, что за отвлеченность, что за брезгливость, что за фешенебельное и в то же время педантическое презрение к идеям, которые волнуют окружающих вас людей!..”

А между тем литература должна и может совершить великое дело – помочь своим читателям выработать миросозерцание, действующее и практическое. Для этого надо спуститься с высоты теории, так как “народ хитрее стал, и ни на какую штуку не ловится… Ум наш требует фактов, доказательств, фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов”.

Что же это за практическое, действующее миросозерцание, которое необходимо, чтобы каждый был работником?

> “Если бы все в строгом смысле слова были эгоистами по убеждениям, т. е. заботились только о себе и повиновались бы одному влечению чувства, то, право, тогда привольнее было бы жить на белом свете, нежели теперь, когда о вас заботятся чуть не с колыбели сотни людей, которых вы почти не знаете и которые не знают вас как личность, а как единицу, как члена местного общества, как неделимое, носящее то или другое фамильное

прозвище”.

Итак, прежде всего надо эмансипировать свою личность от идеи долга и обязанности и свободно отдаться влечению своей натуры, которая прежде всего хочет личного счастья и наслаждения. Не надо ставить себе цели жизни с точки зрения какого-нибудь общего отвлеченного идеала…

“Если, – говорит Писарев, – вы поставите себе цель жизни, несовместную с вашими наклонностями, тогда вы испортите себе свою жизнь; вы потратите всю энергию на борьбу с собой; если не победите себя, то останетесь недовольны; если победите себя, тогда вы сделаетесь автоматом, чисто рассудочным, сухим и вялым человеком. Старайтесь жить полною жизнью, не дрессируйте и не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности в угоду заведенному порядку и вкусу толпы – и, живя таким образом, не спрашивайте о цели. Цель сама найдется, и жизнь решит вопросы прежде, нежели вы их предложите”.

Влечение и наклонность должны явиться определяющими факторами деятельности. И хотя Писарев прекрасно понимал, что эмансипация личности и уважение к ее самостоятельности являются последним продуктом позднейшей цивилизации, – все же литература должна бить в эту точку, оставив свое преклонение перед “фокусами и подвигами самопожертвования”… Иначе, “оставаясь для нас незаметным”, это умственное и нравственное рабство медленным ядом отравляет нашу жизнь. Мы умышленно раздваиваем свое существо, наблюдаем за собой, как за опасным врагом, хитрим перед собою и ловим себя в хитрости, боремся с собою, побеждаем себя, находим в себе животные инстинкты и ополчаемся на них силою мысли; вся эта глупая комедия кончается тем, что перед смертью мы, подобно римскому императору Августу, можем спросить у окружающих людей: “Хорошо ли я сыграл свою роль?” Нечего сказать! Приятное и достойное препровождение времени. Поневоле вспомнишь слова Нестора: “Никто же их бияше, сами ся мучаху”.

Затем Писарев посвящает несколько злых страниц господам спиритуалистам, идеалистам и супранатуралистам, решительно заявляет, что не хочет видеть в жизни “ни цели, ни идеала, а лишь один процесс, который человек может приспособить себе и наслаждаться им”, и, наконец, еще раз энергично высказывает свою задушевную мысль о необходимости и возможности демократизировать науку, искусство и литературу, избавить их от теоретичности и идеализма и, сделав их доступными для каждой эмансипированной или желающей эмансипироваться личности, тем самым дать ей прочный фундамент для деятельности.

> “Отвлеченности (т. е. идеализм, спиритуализм, супранатурализм и пр.) могут быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительного меньшинства. Поэтому ополчаться всеми силами против отвлеченности в науке мы имеем полное право по двум причинам: во-первых, во имя целостности человеческой личности, во-вторых, во имя того здравого принципа, который, постепенно проникая в общественное сознание, нечувствительно сглаживает грани сословий и разбивает кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизм – явление опасное именно потому, что он действует незаметно и не высказывается в резких формах. Монополия знаний и гуманного развития представляет, конечно, одну из самых вредных монополий. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство, которого произведениями могут наслаждаться только немногие специалисты? Ведь надо же помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли из естественной потребности человека наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мешают жить, если они разъединяют людей, если они кладут основание кастам, так и Бог с ними, мы их знать не хотим; но это неправда: истинная наука ведет к осязательному знанию, а то, что осязательно, что можно ощупать руками и рассмотреть глазами, то поймет и десятилетний ребенок, и простой мужик, и светский человек, и ученый специалист”.

Что же, в сущности, за вещь такая схоластика XIX века? Схоластика XIX века – это, прежде всего, идея долга и обязанности, которая надевает на личность нравственные путы, это те теории, которые отвлекают личность от действительного, очевидного, практического, заставляют ее бояться самой себя, голоса своей натуры, своих наклонностей и мешают ей, “приспособив к себе процесс бытия, наслаждаться им”…

Но в “Схоластике” есть и более существенная часть, т. е. все те страницы, которые посвящены требованию демократизировать науку, искусство и литературу. По этому поводу Писарев делает глубокое замечание, что все схоластическое гнездится в кружковщине. Вынесите науку, литературу, искусство на свежий воздух, постарайтесь сделать их очевидными и доступными для массы, для всех, а не только для специалистов или преподавателей какой-нибудь ученой или литературной

касты, и вы увидите, как много ненужного отпадет при этом, и все оплодотворится действительными потребностями насущной жизни.

Если есть “умственный аристократизм”, то миросозерцание, изложенное в “Схоластике XIX века”, может быть названо “умственным демократизмом”. Я говорю “умственным”, потому что эволюцию ума, развитие критической мысли, прогресс науки Писарев всегда ставил во главе исторического развития. В этом случае он смело может быть назван учеником Бокля и Конта, но учеником-демократом, для которого столько же важен прогресс науки, сколько распространение этого прогресса в массе.

Проницательный читатель понимает, кроме того, как теория пользы легко может вырасти на этой почве убежденного демократизма. Но об этом ниже. Пока – несколько фактов из жизни Писарева.

Успех статей Писарева в “Русском слове” был настолько очевиден, что в скором времени Благосветлов сделал его своим помощником.

“Конечно, – писал впоследствии Писарев матери про эту эпоху своей жизни, – у меня не было тогда ни малейшей практической опытности, и я толковал о жизни как совершенный ребенок, но я чувствовал в себе присутствие таких сил и такой энергии, которые непременно должны были очень быстро выдвинуть меня вперед. И разве это чувство обмануло меня? Разве я теперь поменялся бы своим положением с кем-нибудь из своих товарищей? Уже в конце 61– го года, когда литературная карьера моя продолжалась всего несколько месяцев, мне говорили очень опытные люди, что такого другого литературного дебюта они не запомнят. Да я и сам это видел. В ноябре 61-го года я получил приглашение работать для “Современника” и отказался – зане возлюбил “Русское слово”. Там Писарева ласкали и холили, устраивали для него преферанс “по маленькой” и окружили всякой заботливостью.

Но зато “роман” шел совершенно неблагополучно. Раиса, как и следовало ожидать, влюбилась в какое-то “умственное ничтожество, но зато в человека “avec une verve animale”[21] – и решилась отдать ему руку и сердце. Писарев не выдержал и, спустившись с высоты своей теории, утверждавшей, что каждый имеет право располагать собою по собственному усмотрению, – хотел даже драться на дуэли, и “наверное, застрелился бы, не люби я так свою собственную особу”, как вспоминал он впоследствии.

Finita la comedia! – и в самом деле, отношения Раисы с Писаревым напоминают собою комедию. Она просто-напросто испытывала на нем власть своей “ewig Weibliche”,[22] а может быть, просто держала про запас,

решительно не обращая внимания на то, что человек положительно на стену лезет.

Писарев сам впоследствии объяснял неудачу своей любви тем, что он слишком много умствовал и занимался пропагандой теорий, когда “уместнее было засверкать глазами, схватить в объятия и поступить “по-мущински”. Но как бы то ни было, так долго лелеянная мечта его жизни была разбита, и он с еще большей охотой окунулся с головой в свою литературу и ту рассеянную жизнь, которую вел уже довольно давно, со времени сотрудничества своего в “Русском слове”.

Любопытна, между прочим, последняя попытка Писарева отстоять свою любовь и во что бы то ни стало завоевать себе любимую женщину. Он предложил Раисе, чтобы она вышла за него замуж и затем тотчас, после обряда венчания, прямо из церкви ехала с Г. за границу или куда угодно. Предлагая эту развязку, он прекрасно сознавал, что ему ответят негодованием или насмешкой, но ему самому этот исход казался самым простым и естественным: став законным мужем, он давал возможность любимой женщине вернуться к нему на законном основании, когда чаша страсти была бы выпита до дна… Разумеется, на такой компромисс никто не пошел.

Но гроза надвигалась и с другой стороны. Весною 1862 года решено было приостановить временно “Русское слово” и “Современник”. Писарев писал по этому поводу матери:

> “Кажется, закрытие обоих журналов продолжится до Нового года; в этом интервале я не намерен писать в других журналах, потому что все они – дрянь; поэтому я думаю ехать в Грунец и жить там, покуда не откроется “Современник” или “Русское слово”, или что-нибудь им подобное. Je faut savoir accepter avec dignité une défaite politique[23]”.

Эта записка – последняя, написанная им “на воле”, дальше пойдут его письма из крепости.

Попал он в крепость следующим образом. Живя в мезоновских номерах, Писарев познакомился со студентом Баллодом. Молодые люди не были близки между собой, знакомство их было, что называется, “шапочное” и очень скоро прекратилось. В апреле 1862 года появилась наделавшая много шуму брошюра барона Шедоферотти, разбиравшая письмо Герцена к русскому посланнику в Лондоне. Писарев тотчас же по выходе брошюры в свет написал ее разбор, очень несочувственный и

резкий, но все же в тоне, который допускался тогда в печати, и рассчитывал поместить свою статью в майской книжке “Русского слова”, но цензор решительно заявил, что статья, как бы ее ни переделывали, невозможна. Случилось между тем, что Баллод, зайдя к Писареву и узнав об участи рецензии, предложил ее пустить в ход на тайном станке. Писарев, однако, сказал, что “это” не стоит, на чем пока и остановилось дело. Но когда “Русское слово” запретили, и Баллод возобновил свои просьбы, Писарев написал другую статью о том же предмете, статью, возможную только в подпольной печати. Она-то и стоила Писареву почти пяти лет одиночного заключения в крепости, так как через несколько дней Баллод был арестован, а затем по найденным следам – и Писарев.

# ГЛАВА VIII

В крепости. – Письма к матери

Во время пятилетнего заключения в крепости развернулись все лучшие стороны писаревской души и таланта. Как это ни удивительно, однако, таков факт, что лучшие статьи написаны здесь, что здесь ни на минуту не прекращалась работа мощного духа. Перечтите такие статьи, как “Наша университетская наука”, “Реалисты”, “Роман кисейной барышни”, “Промахи незрелой мысли”, – где же тут хотя бы тень вполне законного уныния и тоски? Нравственное мужество 22-летнего литератора не было ни на йоту сломлено страшным испытанием. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась без перерыва, миросозерцание развивалось в том направлении, которое было указано предшествовавшею жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что целых два года Писарев совершенно не знал, что с ним сделают: отправят ли его в ссылку или оставят на месте. Но и эта неопределенность положения – самая мучительная из всех пыток – не сломила его. Он засел за работу в тот день, как захлопнулась за ним дверь каземата, и с той же работой, с такими же планами вышел из крепости. Написанные им за эти годы статьи, проходя всевозможные цензурные мытарства, печатались в “Русском слове”, – что по тем временам было возможно.

Кроме духовной энергии и нравственного мужества, письма его к матери в это время дышат особенной любовью и нежностью. Тон их обыкновенно шутливый, но сколько ласковой почтительности, сколько сердечной мягкости в этой груде исписанных мелким бисерным почерком листов почтовой бумаги! Не мать утешает его, – он утешает мать, рисует ей постоянно перспективу будущей совместной счастливой жизни, то и дело спрашивает о ее здоровье, следит за занятиями и развитием двух младших своих сестер и, нисколько не отказываясь от прежних своих взглядов, находит в себе столько душевной теплоты и мягкости, что облекает их в самую привлекательную, исполненную глубокого чувства и серьезного убеждения, форму.

Так – тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Булат оказался лучшего качества, ибо как иначе объяснить, что мысль Писарева среди четырех стен каземата не утеряла своей яркости и художественности? Не было ни внешних впечатлений, не было слышно даже голоса человеческого, а вместе с тем из-за могил, в продолжение целых пяти лет, раздавалась полная силы и мужества речь, облетавшая всю Россию и встречавшаяся везде с восторгом, – речь, призывавшая людей к живой работе и живому наслаждению.

Но тон писаревских писем красноречивее всяких слов, поэтому и привожу отрывки из них:

> “Насчет моего здоровья ты (т. е. мать) с Верочкою можете быть совершенно спокойны. Я чувствую себя хорошо; сегодня ровно две недели с тех пор, как я в крепости, а между тем меланхолии, которой ты так боялась, не показывается. О положении моего дела не могу сказать тебе ничего, потому что сам ничего не знаю. Ради Бога только, друг мой, Maman, не сокрушайся заранее, но смотри на дело спокойно и серьезно, не увлекаясь приятными надеждами. Ты спрашиваешь, ехать ли тебе в деревню или оставаться здесь. Мне бы хотелось, конечно, чтобы ты осталась здесь, и я попрошу тебя это сделать, если только позволят это твои домашние дела… Обо мне вы обе, Maman и Верочка, не беспокойтесь, мне денег не нужно; у меня все казенное, и я сам, как человек казенный, пропасть не могу… Ну, кажется, все, больше писать не о чем. Крепко обнимаю вас и прошу обеих быть благоразумными – не плакать и не заболевать. Обнимаю вас. Поклонитесь всем знакомым, в особенности m-me Гарднер (Раисе), и пишите по возможности часто и много”.

Писарев вообще в каждом письме уверяет родных, что ему хорошо, “очень даже хорошо”. 16 сентября 1862 года он писал:

> “Cher Papa, Maman и Верочка! Давно я не писал вам, но надеюсь, что вы на меня не будете сердиться. Желал бы также надеяться на то, что вы не будете тревожиться, но знаю, что эта надежда неосуществима. По тону твоего письма, душечка Maman, я вижу, что ты почти так же грустишь и беспокоишься, как в то время, когда я был у Штейна. Не знаю, как бы мне уверить тебя, что я действительно ни в чем не нуждаюсь и не чувствую ни малейшего страдания – ни физического, ни

нравственного. С тех пор, как мы расстались с тобой, прошло уже более 2-х месяцев, и все это время я был совершенно здоров, расположение духа с начала до конца было самое ровное, светлое и спокойное. Я получил от тебя два письма, первое, писанное в Петербурге, второе – из Грунца; оба чрезвычайно обрадовали меня; родным воздухом повеяло; особенно приятные минуты доставило мне второе письмо, как более длинное и подробное. Дурно только одно: зачем ты, мама, так страдаешь? Хоть бы ты с Верочки пример брала. Она гораздо мужественнее тебя. Как бы мне хотелось сообщить тебе хоть незначительную часть моей беспечности, которая составляет счастливейшую черту моего характера. Зачем горевать? Ведь все же это со временем пройдет и понемногу забудется, как начинает забываться и мое пребывание у Штейна. Мне кажется даже, что эти волнения и испытания вместе с семейными событиями, совершившимися нынешнею весною, теснее приблизят меня к вам, а то я в самом деле начинал превращаться в какую-то окаменелость. В жизни бывает хорошо получать столь сильные толчки. От этого крепнешь и умнеешь. Пишите, пожалуйста, побольше”.

Ко 2-му ноября 1862 года относится следующая маленькая записка:

“Все идет по-прежнему; я здоров, спокоен и ни в чем не нуждаюсь, жду известий от вас, потому что последнее ваше письмо я получил с лишком две недели тому назад. Завтра будет ровно 4 месяца с тех пор, как я арестован; наступает зима, и я бы мог пожалеть о потерянном лете, если бы имел дурную привычку жалеть о том, что прошло, или жаловаться на то, чего нельзя переделать… Пишите, пожалуйста, непременно по-русски”.

В следующем письме (14 ноября 1862 года) Писарев опять нежно успокаивает мать, шутливо советует своей маленькой сестренке Кате “не откладывать для него лучшие яблоки, так как они могут испортиться”, и, обращаясь к своей сестре Вере, говорит:

“Я особенно благодарен тебе за то, что ты веришь моему спокойствию и понимаешь, что в нем нет ничего искусственного. Действительно, это сфера моего эгоистического характера. Весною нынешнего года, когда Раиса выходила замуж, я испытал

самое сильное горе, к какому я только способен, и чем же эти страдания выразились? Не было ни слез, ни бессонных ночей, ни внутренней боли, ни неспособности к работе. Один этот факт должен убедить вас, дорогие друзья, что жалеть обо мне не следует и что я почти не способен страдать…”

Почти в каждом письме Писарев впадает в шутливый тон. Так, он уверяет, например, что “теперешнее его положение совершенно обеспечивает его от “простуды, насморка и кашля, которые, вероятно, свирепствуют теперь в Петербурге”. “Если бы ты, мама, – продолжает он, – взглянула на мое положение с этой точки зрения, то ты, вероятно, убедилась бы в том, что каждое несчастье, как бы велико оно ни было, представляет свою утешительную сторону”. “В крепости, – замечает в другой раз Писарев, – жить очень дешево, что при дороговизне петербургской жизни вообще очень приятно”.

Вскоре Писареву разрешили свидание с родными, поэтому переписка на несколько месяцев прекращается. Следующие же письма относятся к 63– му году и позже. В первом из написанных в 63– м году мы читаем:

“Жизнь моя, которую так разнообразили в продолжение 4-х месяцев свидания с вами, опять покатилась своим ровным течением, опять я ничего не ожидаю, живу себе с минуты на минуту и опять замечаю, что время идет особенно скоро, и опять радуюсь, потому что дни опять так быстро уходят за днями. К уединению и к моему правильному образу жизни я так привык, что мне и в голову не приходит, чтобы этими вещами можно было тяготиться. Я не думаю, чтобы я, подобно Шильонскому узнику, вздохнул когда-нибудь о моей тюрьме, но я совершенно уверен в том, что всегда буду вспоминать о времени моего заключения с самой добродушной улыбкой. Мне даже иногда становится смешно смотреть на себя: какой я кроткий агнец и как я со всем примиряюсь, и как я всем остаюсь доволен! Со стороны смотреть, должно быть, еще смешнее, но мне, от кротости моей, очень хорошо; эта кротость похожа на пуховик, который предохраняет меня от боли при каждом падении. Вот ты читаешь теперь мое письмо, друг мой, мама, и пожимаешь плечами, а Верочка читает и сердится на меня и говорит: как это ему (т. е. мне) не надоест все разбирать и хвалить себя, и все с одной и той же стороны? А что делает и говорит в это время папаша?

Впрочем, папашу я так давно не видал, что даже приблизительно не могу себе представить, какое впечатление производит на него моя болтовня. Но вы ею не раздражайтесь”.

Писарев старается даже уверить себя и других, что пребывание в крепости ничего, кроме пользы, ему не приносит и принести не может.

“Оглядываясь назад на прошедший год, двадцать третий год моей жизни, я вижу, что он проведен гораздо благоприятнее, чем, например, двадцать второй. Правда, что в моем положении мудрено делать какие бы то ни было глупости, но так или иначе, по той или другой причине, а все-таки этот год прошел без глупостей, чего никак нельзя сказать о его предшественнике. Если бы я был на свободе, то могу себе представить, сколько бы я наделал карточных долгов, сколько бы я тратил силы на беспорядочные удовольствия. Теперь все силы, которые потратились бы в этом году, оказываются сбереженными, а это увеличивает тот капитал, с которого придется брать проценты в течение всей остальной жизни. Я очень расточителен в отношении к деньгам, потому что деньги составляют для меня только проценты, но я очень скуп на капитал; т. е. нельзя сказать, чтобы я иногда не пускал на ветер кусочек капитала, но, поверишь ли, мне всегда было жалко и очень тяжело после того, как я поступал таким образом. Как только проведу бессонную ночь за картами, так и начинаю смотреть на себя в зеркало и соболезновать о том, что лицо осунулось, глаза потускнели, – значит, частица сил израсходована. Ты, как человек благоразумный, спросишь, конечно, зачем же было глупости делать? На это отвечать нечего: слаб человек и ни в чем не знает меры. Поэтому-то я и рад, что обстоятельства взялись приучать меня к правильному образу жизни и сберегут для меня на будущее те силы, которые я, живя на всей своей воле, непременно разбросал бы по сторонам, и жалел бы, и плакал бы, а все-таки бросал. Буду ли я поступать благоразумнее впоследствии? Мне кажется – “да”! У меня во многих отношениях расширились и прояснились понятия, а это не может оставаться без влияния на весь образ действий. Во-первых, я сам по себе возмужал, а во-вторых, долговременное уединение подействовало на меня очень хорошо. Уединением лечат некоторые виды сумасшествия, е том

числе и меланхолию, но уединение бывает полезно не для одних сумасшедших; от него выигрывают часто люди совершенно здравомыслящие. Становишься спокойнее, выучиваешься сосредоточивать свои мысли и вследствие этого начинаешь думать успешнее прежнего. Соображая все эти обстоятельства, я нахожу, что мой 23-й год жизни проведен как нельзя лучше: он мог бы быть проведен приятнее – это правда, но приятные ощущения в прошедшем так же интересны, как хороший обед, съеденный неделю тому назад. Мало ли что было да прошло. Прошедшее интересно для меня настолько, насколько оно оставляет что-нибудь для настоящего и будущего, т. е. насколько оно увеличивает капитал, с которого мы берем проценты. А в этом отношении последний год сделал свое дело как следует, и потому я им совершенно доволен. К начинающему году (24-му) моей жизни я подхожу с особенным любопытством, где и каким образом придется провести его. Вопрос этот не лишен занимательности, но могу сказать, положа руку на сердце, что задаю его себе без малейшего волнения. К живому любопытству не примешиваются ни мечтательные надежды, ни мрачные опасения, нет и такого равнодушия, которое было бы похоже на апатию. Просто любопытно следить за событиями собственной жизни… Иногда кажется, что роман растянут и что события слишком медленно развиваются, но так как знаешь, что нетерпение ни к чему не ведет, то очень скоро миришься с этим. Все это время я чувствовал себя так хорошо, что продолжается и теперь, так что даже осень не раздражает меня, несмотря на то, что я терпеть не могу этого времени года…”

В этом же письме есть кое-что о Раисе:

“Кстати, получаешь ли ты известия о Раисе? Если получаешь, сообщи мне, что знаешь о ней, а если не получаешь, то, пожалуйста, постарайся получить. Меня очень интересует все, что касается до нее… Я думаю о ней часто, иногда с досадою, иногда с грустью, иногда с добрым чувством и с сильным желанием увидеть ее… Когда я говорю о своей грусти, то ты при этом должна иметь в виду, что для меня всякая грусть несравненно легче насморка и возбуждается каким-нибудь трогательным романом. Но как бы то ни было, мне бы хотелось

знать, что с нею делается, и ты, друг мой, maman, сделаешь мне большое одолжение, если сообщишь что-нибудь о ней”.

Обыкновенный припев, которым заканчивает Писарев свои письма, таков: “Что мне делается! – по обыкновению здоров и счастлив”.

Жажда жизни, деятельности не умолкает в нем ни на минуту. То и дело строит он планы будущего, т. е. будущих работ. Под работой же для себя он разумеет, понятно, прежде всего литературу.

“Для меня, – пишет он, – журналист есть высший идеал человека и благороднейшее существо. Я, как хороший ремесленник, горжусь своим ремеслом точно так же, как им гордится в Германии каждый сапожник и булочник. Впрочем, если обстоятельства заставят отправиться в места отдаленнейшие и бросить журналистику, то и тут плакать нечего: куда бы меня ни отправили, ведь дороги всюду есть, а средства на проезд для тебя и Верочки можно будет найти. Ведь я не безрукий и не безголовый человек. Работа найдется, а если будет работа, то средства будут. Неужели я только и способен быть, что литератором? В случае надобности сумею быть и конторщиком, и домашним учителем. Но, разумеется, это. лишь в случае безусловной крайности”.

“Журналистика, – пишет он 24 декабря 1864 года, – мое призвание. Это я твердо знаю. Написать в месяц от 4 до 5 печатных листов я могу незаметно и уже нисколько не утруждая себя; форма выражения дается мне теперь еще легче, чем прежде, но только я становлюсь строже и требовательнее к себе в отношении мысли, больше обдумываю, стараюсь яснее отдавать себе отчет в том, что пишу”.

С особенным наслаждением строит Писарев планы своих будущих литературных работ.

“Мой взгляд на вещи, – говорит он, – и тот план, по которому я намерен со временем построить мою жизнь и деятельность, выясняются для меня с каждым днем явственнее и отчетливее. Если мне удастся выйти опять на ровную дорогу, т. е. жить в Петербурге и писать в журнале, то я, наверное, буду самым последовательным из русских писателей и доведу свою идею до таких ясных и осязательных результатов, до каких еще никто не доводил раньше меня”.

“Все наши хорошие писатели имели значительную слабость к общим рассуждениям и высшим взглядам, и у меня есть эта слабость, хоть я еще и не считаю себя хорошим писателем; но я понимаю, несмотря на эту слабость, что общие рассуждения и

высшие взгляды составляют совершенно бесполезную роскошь и мертвый капитал для такого общества, которому недостает самых простых и элементарных знаний. Поэтому обществу надо давать эти необходимые знания, т. е. знакомить публику с лучшими представителями европейской науки. Мне эта задача во всех отношениях по душе и по силам. Во-первых, я пишу, как тебе известно, чрезвычайно быстро; во-вторых, я пишу весело и занимательно; в-третьих, я усваиваю себе очень легко чужие мысли, так что могу передавать их совершенно понятным образом; и, наконец, в-четвертых, я одержим страстной охотой читать. Все эти свойства до сих пор все еще растут и развиваются во мне, так что каждая новая статья моя выходит живее и пишется легче, чем предыдущая. При таких условиях я, нимало не утомляя себя, могу писать по 50 листов в год, т. е. по 800 страниц. Стоит только выбирать тщательно сюжет статей, и, таким образом, публика ежегодно будет получать целую массу знаний по самым разнородным предметам. Припомни теперь, сколько пользы принес Белинский, и сообрази, что Белинский ограничивается почти исключительно областью литературной критики; кроме того, Белинский был человек больной и раздражительный, что непременно мешало ясности и последовательности работы. Принявши все это в расчет, ты поймешь, сколько настоящей пользы могу принести я при моем порядочном здоровье, при моей способности писать, не раздражаясь, при моей ненависти к фразам и при моем постоянном стремлении доказывать и объяснять, придерживаясь метода опытных наук… Но ты не думай, однако, что, упиваясь этими обаятельными мыслями, я забываю свое настоящее положение. Я очень хорошо знаю, что я не стою на ровной дороге и что, может быть, мне долго или совсем не удастся попасть на нее обратно. Но, во-первых, приятно чувствовать в себе силу быть полезным, хотя бы даже и не удалось приложить эту силу к работе, а во-вторых, я не могу роптать на свое положение потому, что по глубокому убеждению моему без теперешней моей катастрофы мысли мои ни за что бы не пришли в такую ясность, а способности не развивались бы с такой полнотой и правильностью, как это произошло теперь.

Знаешь, что было бы со мной теперь, если бы я остался на свободе?… Я почти уверен, что я заигрался бы в карты и ушел бы

> в долги до последней степени. Теперь я не думаю, чтобы я опять ударился в картежную игру, теперь умственный труд, который тогда все-таки был трудом, сделался для меня потребностью, привычкой и наслаждением.
>
> С тех пор, как мне изменила Раиса, я возлюбил “Русское слово” пуще всякой женщины. У меня работа заменяет все: в ней и любовь моя, и удовольствие, и смысл, и цель жизни, и все, как есть. Уродливое существо, мамаша, не правда ли?…”

Умственный демократизм Писарева очевидно развивался. Мало того, он нашел себя в чувстве любви к ближнему:

“Теперь к моему характеру, – пишет он 17 января 1865 года, – присоединилась еще одна черта, которой в нем прежде не существовало. Я начал любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мне до них не было никакого дела. Прежде я писал отчасти ради денег, отчасти для того, чтобы доставить себе удовольствие; мне приятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чем не думал и не хотел думать. А теперь мне представляется часто, что мою статью читает где-нибудь в глуши очень молодой человек, который еще меньше моего жил на свете и очень мало знает, а между тем желал бы что-нибудь узнать. И вот, когда мне представляется такой читатель, то мною овладевает самое горячее желание сделать ему как можно больше пользы, наговорить ему как можно больше хороших вещей, надавать ему всяких основательных знаний и, главное, возбудить в нем охоту к дельным занятиям.

Это, наверное, отражается и в изложении моих статей, и в выборе их сюжетов, и это придает процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестает быть делом одной мысли и начинаешь удовлетворять потребности чувства…”

После этих теплых, воистину писательских, слов Писарев возвращается к своей мечте быть распространителем дельных знаний среди публики. Он сам для этого хочет учиться и учиться:

> “Я с самого начала так повел свою жизнь, что мне неудобно приниматься теперь самому за микроскопы и за анатомический нож, но я перечитаю все, что есть замечательного по естествознанию, и как дилетант принесу много пользы распространением дельных сведений посредством журнальных статей”.

Этому идеалу тихой труженической жизни Писарев подыскивает такую же тихую семейную обстановку:

“Литературные занятия, – пишет он матери, – в настоящее время не только могут прокормить человека, но даже могут составить ему обеспеченное состояние. А я нахожусь в особенно выгодном положении, потому что я первый содействовал успеху “Русского слова” в то время, когда еще этот журнал был совершенно неизвестен. Издатель его в твоем присутствии предлагал взять меня в долю, как только журнал будет приносить барыши…[24] Все это я говорю для того, чтобы ты не осмелилась думать, что я, женившись, не буду в состоянии осуществить наших общих и самых задушевных мечтаний о глубокой комнате и о том большом кресле (напротив письменного стола), на котором будет сидеть мамаша со свойственною ей важностью на лице, с разными спицами и вязаньями в руках и постоянною улыбкою на губах. Глубокая комната, большое кресло и все аксессуары составляют самое основание моих планов о женитьбе. Это только одна из принадлежностей, какая может быть и не быть, смотря по обстоятельствам. Но мне кажется, что женитьба составляет для меня чистый расчет: это верное средство совершенно остепениться, сидеть дома, много работать и отдыхать так, чтобы отдых действительно освежал голову, вместо того, чтобы еще более отуманивать ее… Я не желал бы во второй раз сделать любовь к женщине высшим интересом моей жизни, но я думаю, что этого больше со мной и не случится. Но я знаю, что я способен быть очень хорошим мужем, т. е. я буду постоянно любить и уважать ту женщину, которая согласится быть моею женой и сумеет хоть немного понять и полюбить меня. Ты знаешь, что я нетребователен в отношении к моим друзьям и что со мной почти невозможно поссориться. Представь себе эти свойства моего характера в семейной жизни и ты увидишь, что будущая жена моя будет очень счастливой женщиной. Если бы даже она стала требовать от меня безусловной супружеской верности, то и с этой стороны я бы вполне удовлетворил ее по той простой причине, что мне некогда было бы изменять…”

Надо заметить, что, сидя в крепости, Писарев вообще довольно старательно обсуждал матримониальные проекты. Тишина и уныние каземата много способствовали этому обстоятельству. У нас сохранились даже несколько писем его к некоей Лидии Осиповне, девушке, Писареву совершенно незнакомой, о которой он знал лишь из писем сестры и матери. Со своей обычной поразительной наивностью Писарев предлагает Лидии Осиповне руку и сердце, так сказать, заочно и покорнейше просит подождать его освобождения. Ничего особенно странного в этом

обстоятельстве нет, так как каземат несомненно развил в Писареве некоторую мечтательность, и мысль его сосредоточилась возле белокурой головки Лидии Осиповны, тем более что мать и сестра в каждом письме своем напоминали ему о ней.

Письма Писарева к Лидии Осиповне я привожу полностью, так как в них он изложил свои взгляды на семейную жизнь и взаимные отношения жены и мужа.

> “Милостивая государыня, Лидия Осиповна! Вы, вероятно, приняли мое предложение за глупую шутку, и теперь, конечно, забыли о нем. А ведь это напрасно. Предложение мое не только очень серьезно, но даже благоразумно; и для нас обоих, для вас и для меня, было бы очень хорошо, если бы вы обсудили его спокойно и основательно. Если бы вы были так же смелы, как и я, то есть если бы вы приняли его немедленно, то это было бы еще гораздо лучше. Но вы этого не сделаете ни в каком случае; стало быть, об этом нечего и толковать. Я вам объясню здесь, почему я осмелился сделать это предложение. Вы любите мою мать, вы дружны с моей сестрой, они обе души в вас не слышат. Этого было для меня достаточно; я заключил, из этих данных, во-первых, что вы – существо умное и хорошее, а во-вторых, что вы бы сошлись со мною самым дружеским образом, если бы мы с вами увиделись. Видеться нам было невозможно, а между тем вы могли, от нечего делать, от боязни упустить жизнь, выйти замуж за какого-нибудь бесцветного господина, который бы устроил для вас очень бесцветную жизнь. Такие вещи случаются на каждом шагу, и люди обыкновенно покоряются тому, что они называют судьбой. Но я до смерти не люблю покоряться этой глупой судьбе, и всегда барахтаюсь до последней возможности. Зачем, подумал я, эта умная и милая девушка сделается женой какого-нибудь олуха, когда она могла бы доставить этим много счастья мне, человеку умному и порядочному, который сумел бы сделать ее также очень счастливою. Неужели вся эта чепуха произойдет только оттого, что случайные обстоятельства задерживают меня в столице? Надо победить эти обстоятельства. Чтоб победить их, я сделал вам предложение. Получивши его, вы должны были спросить у ваших друзей, т. е. у моей матери и сестры: “Способен ли он придумывать плоские шутки?…” Они отвечали бы вам: “Нет”. Затем надо было расспросить их обо мне, т. е. о моем

образе мыслей, о моем характере, о моем положении. Впрочем, вы, по всей вероятности, всё это знаете, так что вы могли бы сказать заочно, да или нет, почти так же сознательно, как вы бы сказали это после свидания со мною. Вы скажете на это: “Почему я знаю, полюблю ли я вас?” Да, мы вообще привыкли смотреть на любовь как на что-то непостижимое, возникающее Бог знает почему; по правде сказать, нам до сих пор больше и делать было нечего, как размышлять о любви и заниматься любовью. Но, мне кажется, любовь – вещь очень простая и естественная; когда даны условия любви – молодость, ум, приличная наружность, тогда и любовь должна возникнуть и всегда возникает. Я, например, совершенно уверен, что я вас полюблю, и не вижу резона, почему бы вы меня не полюбили. Вы очень хороши собой, а я совсем не хорош. Но, во-первых, красивых мужчин на свете очень немного, а во-вторых, я не урод, у меня не пошлая физиономия, и, к довершению моей привлекательности, у меня с некоторых пор сделались очень умные глаза. Кроме того, жизнь не может быть наполнена любовными восторгами, и часто женщине приходится скучать десятки лет с тем мужчиной, который в продолжение нескольких недель был для нее предметом самой бешеной страсти. А со мной умная женщина не соскучится. Вы знаете мою мать и мою сестру; им никогда не бывает скучно со мной; Раиса также любила говорить и читать со мной, и часто увлекалась течением моих мыслей; а теперь она увлекалась бы еще смелее, потому что в последние два года вся цель жизни совершенно выяснилась перед моими глазами. Если бы вы пожили месяца два с нами (с maman, с Верочкой и со мной), если бы вы читали с нами и следили за процессом моей работы, то вы бы на всю жизнь привязались к тому светлому и дельному существованию, которое открылось бы перед вами. Я знаю, что вы очень умны; maman передавала мне некоторые ваши рассуждения, и я вглядывался в них очень внимательно. Я вижу, что вы любите самостоятельность и умеете ценить ее; у вас много умственной смелости; в деле благочестия вы гораздо ближе подходите к моей сестре, чем к моей матери. Ну скажите, пожалуйста, как же мне не кусать себе локти от досады, что я не могу вас видеть и говорить с вами; ведь это всё золотые свойства, ведь ими-то я и дорожил в Раисе, и вдруг такие сокровища достанутся какому-нибудь олуху, который и разглядеть-то их не сумеет. Лидия

Осиповна, да не губите же вы себя. Вам непременно надо выйти за нового человека. Вы себе представить не можете, как много счастья может дать женщине такая жизнь, в которой она будет пользоваться полнейшею самостоятельностью и в которой все ее умственные силы будут развернуты и получат себе приложение. Не думайте, пожалуйста, что я собираюсь сделаться учителем моей супруги. Нет. Ее любознательность будет пробуждена влиянием жизни, и я только буду для нее справочным лексиконом. Учить взрослого человека очень скучно; но учиться вместе с другом или любимою женщиною – это высшее наслаждение; а учиться надо постоянно, потому что кто перестает идти вперед, тот начинает тупеть. Чтоб вам когда-нибудь пришлось смотреть снизу вверх, – это невозможно; вы умны, и я умен, стало быть, тут, кроме равенства, не может быть других отношений. Вы думали, что я до сих пор люблю Раису! Да ведь нельзя же любить прошедшее или пустое пространство. Я теперь люблю не ее, а те недели, которые составляют светлое пятно моей жизни; я люблю те ощущения, которые пережил вместе с ней. Но я не мечтатель, я люблю жизнь, и потому упорно стараюсь доставить или приготовить себе в будущем те ощущения, которые так дороги мне по воспоминаниям. Та женщина, которая согласится осветить и согреть мою жизнь, получит от меня всю ту любовь, которую оттолкнула Раиса, бросившись на шею своему красивому орлу. Советую вам попробовать; уверяю вас, что эта женщина не будет обманута. Если это письмо вам покажется чересчур странным, назовите меня сумасшедшим или дураком. Во всяком случае оскорбительного в этом письме нет решительно ничего, а сумасшедшим меня называли не раз, и я этим никогда не обижался”.

Получив на свое письмо “благоразумный” и “выжидательный” ответ, Писарев еще раз писал по тому же адресу:

“Милостивая государыня, Лидия Осиповна! Я получил ваш ответ, и если вы позволите выразить вам о нем откровенно мое мнение, то я вам скажу, что нахожу его вполне благоразумным. Другого ответа я и не ожидал, и если бы я считал вас за девушку, способную броситься на шею к совершенно незнакомому человеку, то я бы никогда и не сделал вам предложения.

Осмелился я написать к вам не для того, чтобы получить ваше согласие, – на что оно мне в настоящую минуту? Что бы я с ним стал делать в моем теперешнем положении? Я написал единственно для того, чтобы заинтересовать вас странностью этого поступка и чтобы ваше возбужденное любопытство заставило вас отложить на год или на полтора окончательное решение вашей участи, то есть свадьбу с каким-нибудь невеселым туземцем. Мое предложение было и навсегда останется делом совершенно серьезным, но я заранее был уверен, что получу отказ, и заранее знал, что я отвечу на этот отказ. Отвечу я вот что: до поры до времени, Лидия Осиповна, будем добрыми друзьями; потом, когда увидимся, будем говорить долго, серьезно, но совершенно откровенно, как люди, положительно собирающиеся заключить между собой очень важные условия; а потом – что Бог даст. Вы не думайте, пожалуйста, что я, пленившись рассказами maman и Верочки, пылаю к вам мечтательною страстью и воображаю вас себе как что-то необычайное. Ничуть не бывало. Никакой страсти я не чувствую и ничего необычайного я не ожидаю и не ищу. А думаю я просто, что вы – такая девушка, которой не тяжело и не скучно будет жить со мной, которая сойдется как нельзя лучше с моим семейством и которая доставит мне столько счастья, сколько всякий порядочный человек может требовать себе в жизни. Вы спросите, может быть, почему я так думаю, – я перечислю те свойства, которые я вам приписываю, и вы увидите, что ни от одного из этих свойств вы не имеете ни малейшей возможности отказаться. Недурна собой – что же вы, безобразны, что ли? Неглупа – а насчет этого вы как думаете? Сильное здоровье – это в моих глазах очень важное преимущество. Без него счастье в жизни невозможно. Да и для будущих детей это статья капитальная. Не избалована роскошью. Это тоже верно. Если бы мне случилось жениться на девушке, которая требовала бы ежеминутно нарядов и светских удовольствий, то наша семейная жизнь пошла бы, разумеется, ужасно скверно. Имеет понятие о практической жизни, то есть внесет в наше семейство именно то, чего в нем недостает: возьмет в свои руки министерство финансов и устроит в доме порядок. Я, разумеется, хочу иметь не хозяйку, а жену, но если к другим достоинствам присоединяется в женщине практическая расторопность, то я нахожу, что это

совсем не лишнее. Раиса такая же неряха, как и я сам; это, конечно, не помешало бы мне жениться на ней, но наша соединенная неряшливость наделала бы нам в жизни много липших хлопот. Вот видите, Лидия Осиповна, если бы я встретил девушку, которая имела бы перечисленные выше свойства и которая притом влюбилась бы в меня, то я бы непременно женился на ней, и отлично бы мы с ней прожили свой век, хотя, может быть, страстной любви с моей стороны и не было бы. Вот что необходимо для удобства жизни; если же имеется что-нибудь сверх этого, то уже начинается настоящая страсть, живое наслаждение, горячее счастье жизни. Если нам удастся полюбить друг друга этою жгучею любовью, то вы увидите, что я совсем не холодный резонер; я сумею воспользоваться этим счастьем, если оно представится мне с вами или с другой женщиной; но я знаю также, что это счастье достается не всем; поэтому я сумею и обойтись без него, сумею, в случае надобности, наполнить жизнь трудом и спокойным довольством. Для семейной жизни необходимо прежде всего взаимное уважение, отсутствие физического отвращения. Если к этому присоединяется бешеная взаимная любовь – превосходно; но это уже роскошь жизни, а не насущный хлеб. Есть – хорошо; нет – не беда. Из всего, что я вам говорил, вы видите, что при свидании с вами никакого разочарования произойти не может, потому что совсем не было и очарования. Очарование, может быть, будет, но будет или не будет – все равно: предложение мое сохраняет свою силу; только в одном случае вы будете для меня редким сокровищем, а в другом случае – добрым, уважаемым другом. Весь вопрос состоит, стало быть, в том – понравлюсь ли я вам? Это, конечно, вопрос очень важный. От него зависит все дело, и решиться он может только при свидании. Стало быть, поживем – увидим. Но я вам даю честное слово: как только выйду из своего теперешнего положения, я непременно тотчас поеду туда, где вы в то время будете находиться, и буду иметь честь представиться вам. Мое предложение – дело серьезное, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы показать вам, что я смотрю на него именно таким образом. А там уже поступайте, как вам будет угодно. Но у вас уже теперь есть против меня предубеждения: во-первых, то, что вы называете моей ученостью; во-вторых, Раиса. Вся моя ученость, Лидия Осиповна, состоит в том, что я читаю книги на

трех иностранных языках и пишу хорошо и быстро по-русски. Скажите на милость, чем это вам мешает и за что вы постоянно колете мне глаза этой проклятой ученостью, которой у меня даже совсем нет?… Угодно вам послушать, какое влияние моя ученость будет иметь на вашу жизнь, если вы сделаетесь моей женой? Извольте: во-первых, мы будем получать все русские журналы и многие столичные будем прочитывать вместе, потому что мне необходимо для моих работ следить постоянно за русской журналистикой. Во-вторых, мы будем получать несколько иностранных газет и журналов; в-третьих, мы будем получать и просматривать множество новых книг, русских и иностранных; в-четвертых, мы будем водить знакомство с людьми очень смирными, простыми, работящими и совершенно бесцеремонными. Мамаша уже имеет понятие о таких людях и уже полюбила их, несмотря на несходство некоторых понятий. В-пятых, если Лидии Осиповне угодно будет разгадать себе какой-нибудь интересный для нее вопрос, она обратится к своему умному мужу, и муж скажет ей, в какой книге она может найти разрешение своих сомнений. В-шестых, если той же Лидии Осиповне угодно будет познакомиться с немецким или английским языком, то при помощи своего ученого мужа она одолеет эти языки в какие-нибудь полтора года. А неугодно будет, так и необходимости нет никакой. На русском и французском написано и постоянно пишется так много интересных и хороших вещей, что их будет совершенно достаточно для нашего чтения вдвоем. Ну, а в-седьмых, Лидия Осиповна будет жить со своим ученым мужем так, как вообще живут благоразумные люди, получающие около 3000 рублей серебром годового дохода. Никакой роскоши, но и никаких чувствительных лишений. Впрочем, министерство финансов будет находиться в руках самой Лидии Осиповны. Мой долг будет зарабатывать, а ее долг – сводить концы с концами. Лидия Осиповна! Я вполне понимаю, почему вас смущает то, что вы ошибочно считаете моим умственным превосходством. Вы хотите быть во всех отношениях другом вашего будущего мужа; вы хотите понимать весь смысл его деятельности, делить с ним каждую его мысль, каждую радость, каждое огорчение. Я совершенно с вами согласен и глубоко уважаю вас за это желание; друг мой, вы будете знать и понимать все, что я делаю, все, что до меня

касается: и отчего я встревожен, и отчего я весел, и над чем я задумался, и к чему клонится вся моя забота; вы как честное, свежее и молодое существо будете любить все, что я люблю, и ненавидеть все, что я ненавижу. Для этого, друг мой, не надо знать ни математики, ни астрономии, ни физики; надо только, чтобы был у человека неиспорченный здравый смысл и твердый самостоятельный характер. Не осмелитесь же вы клеветать на себя и говорить, что у вас этих свойств нет? Вы увидите сами, достаточно будет двух-трех задушевных разговоров для того, чтобы вы в общих чертах поняли и полюбили все, что составляет смысл моей работы и цель всей моей жизни. И чем меньше вы до сих пор слышали и читали модных фраз, тем глубже подействует на вас слово искреннего убеждения. Фразеров обоего пола у нас очень много, но я – не фразер; в этом меня не смеют заподозрить даже мои литературные враги; поэтому и женой моей, то есть самым близким моим другом, может быть только существо глубоко искреннее, способное крепко любить ту мысль, которую она полюбит; а знания – дело совершенно второстепенное, и приобрести их совсем не мудрено, когда живем при такой обстановке, которая со всех сторон шевелит любознательность. Теперь насчет Раисы. С каждым днем я сильнее убеждаюсь в том, что это – прошедшее и что тут ничто не может воротиться назад. Было, сплыло и быльем поросло. Представьте себе, что ее муж умер бы сегодня. Ничего бы из этого не вышло. Она сама не бросится ко мне на шею, а я тоже не сделаю к ней ни одного шага, не по самолюбию, а потому, что теперь уж хлопотать-то не из чего. Теперь Раиса совсем не то, чем она была два года тому назад. Она начинает превращаться в развалину. Видел я ее карточку, читал ее письма. Не то, совсем не то. На карточке – худая, больная, пожилая женщина; в письмах – пустота, слабость, усталость. Уверяю вас, я нисколько не завидую Гарднеру и решительно не желаю быть на его месте. Раиса сама писала в прошлом году, что ее нервное расстройство может перейти в падучую болезнь или в сумасшествие. Ей теперь 24 года. Она легко может прожить еще двадцать или тридцать лет. Но ведь это не жизнь, а постоянное скрипение. Гарднер – сильный и здоровый мужчина, красавец собою, должен превратиться в сиделку и присутствовать постоянно при медленном разрушении той женщины, которую он любит. Скажите, пожалуйста, чему же

тут завидовать? Вдумываясь в положение Гарднера, я могу только благодарить Господа Бога за то, что эта чаша прошла мимо меня. А два года тому назад я подрался с Гарднером из-за этой чаши, подрался с тем самым благодетелем, который отнимал у меня эту чашу.

Вы знаете, конечно, что даже мое теперешнее положение есть последний результат моего тогдашнего беснования. Но именно последний результат. Теперь беснование кончено, и я сужу совершенно хладнокровно о прошедшем. Ясное доказательство, что это прошедшее действительно прошло. Не думайте, Лидия Осиповна, что я хочу оплевать тот кумир, перед которым десять лет стоял на коленях; нет, это было бы очень грязно и подло. Разве она виновата в том, что она слаба и больна? А между тем ее муж – все-таки несчастный человек вследствие ее болезни. Я бы мог быть ее мужем, и я бы переносил это несчастие твердо и терпеливо, потому что ее стоит любить. Она милая, очень милая женщина; но все-таки несчастье можно переносить, когда оно на вас сваливается, а напрашиваться на очевидное несчастье, добиваться его всякими усилиями – это уже глупо. Раиса сама прогнала меня; скажите, пожалуйста, зачем же я теперь-то стал бы искать сближения с нею, даже в том случае, если бы Гарднер умер. Нет, Лидия Осиповна, прошедшего не воротишь, а теперь во мне даже замерло желание воротить его. Все устроилось в моей жизни чрезвычайно благополучно. Даже счастливые воспоминания моей молодой любви начинают застилаться туманом. Я не умею жить в прошедшем. Предо мною открыто будущее. Я молод и крепок. Я хочу и буду жить полною, здоровою жизнью мыслящего и чувствующего человека. Мне нужна действительность, а не воспоминания. Поэтому, если я только буду иметь счастье понравиться вам, любите смело. Я вас не обману, и Раиса ничему не помешает. Если даже мы когда-нибудь сойдемся опять с Раисою, то мы будем только добрыми старыми друзьями, и вы сами полюбите ее, потому что она – милая женщина. До свидания; извините, что я в одном месте этого письма назвал вас друг мой. Это написалось как-то нечаянно, а вычеркивать не хочется. Впрочем, обещаю вам, что на будущее время вы не встретите в моих письмах подобных вольностей. Согласитесь, однако, Лидия Осиповна, что тут нет ничего обидного. Обдумайте мое письмо и отвечайте на него по-

прежнему мамаше. До свидания”.

Но эти мечты разлетелись, как дым, после того, как Раиса, вернувшаяся в Петербург, пожелала свидеться со своим “хроническим женихом”. Старая страсть вспыхнула, и притом в такой необузданной форме, что Раиса испугалась – хотя она была дамой нетрусливого десятка – и поспешила заявить, что как прежде, так и теперь, никакой надежды нет. Писарев отвечал ей на это письмом – одним из тех писем, в которых он с такою яркостью умел характеризовать свое настроение.

> “Mia cara! В твоем последнем письме ты очень остроумно сражаешься с ветряными мельницами; никакого хронического жениха тебе не предстоит, и, чтобы совершенно успокоить тебя, даю тебе конституционную хартию наших будущих отношений. Когда я буду вполне располагать своими поступками, тогда я предложу тебе письменно вопрос: “желаешь ли ты меня видеть или нет?” и если не ответишь мне просто и ясно, что “желаю”, то и не увидишь меня. Если нам придется увидеться, то, разумеется, о любви с моей стороны не будет и слова до тех пор, пока ты сама этого не пожелаешь. На безбрачие я себя не обрекаю, но намерен жениться только тогда, когда совершенно ошалею от любви к какому-нибудь субъекту, но теперь мне этими пустяками заниматься некогда, во-первых, потому, что я – казенная собственность, во-вторых, потому, что нам дают карательную цензуру, которая наполняет теперь все мои помыслы. Вообще же я думаю, что жизнь велика и что много чудных перлов скрыто в ее глубине. Пользоваться этими перлами я вовсе не прочь, но отыскивать их не намерен, потому что надо работать, а не шалопайствовать. Когда же некий перл сам влезет мне в руки, я его не выпущу. Довольны ли вы этим, злобствующая леди Макбет и свирепая разрушительница ветряных мельниц? Если довольны, то не смейте говорить, что я добиваюсь приятельских отношений с вами. Я друг вашего детства, и потому добиваться каких-то приятельских отношений мне совсем не к лицу. Кроме того, я ничего не намерен от тебя добиваться. Довольно я пополз перед тобой на коленях; наконец-то мне это глупое занятие надоело, и с этой минуты я поднимаюсь на ноги и выпрямляюсь во весь рост. Любить я тебя, вероятно, буду всегда, но добиваться – баста. Что даешь – спасибо, а просить не желаю… До свидания…”

И это письмо дышит той же энергией и бодростью убежденного работника. Но, разумеется, минуты уныния находили на Писарева, хотя он лишь вскользь и как-то неохотно упоминает о них. Особенно, разумеется, тяготила та томительная неизвестность насчет дальнейшей своей судьбы, в которой его продержали более двух лет.

“Я, – пишет он, – разумеется, ничего не знаю о ходе моего дела и о том, когда оно решится, но думаю, что скоро. Вспомни, что мы в сентябре 62 г. ожидали его окончания; ведь теперь прошло с того времени около полугода. Трудно себе представить, чтобы дело могло продолжаться еще несколько месяцев. Да и неужели ты желала бы этого? Ведь я, конечно, не сомневаюсь в том, что ты прежде всего желаешь, чтобы мне было хорошо, чтобы со мной случилось именно то, что я сам себе желаю. Ну, а я тебе скажу, что самое сильное мое желание в настоящее время заключается в том, чтобы дело решилось как можно скорее. Каким бы строгим приговором оно ни кончилось, во всяком случае тот день, когда мне объявят этот приговор, будет для меня днем величайшей радости. Я очень желал бы тебя видеть и очень обрадовался бы тебе, но если бы меня спросили, чего я больше желаю, чтобы ты приехала или чтобы дело решилось, то я, не задумываясь, скажу: чтобы дело решилось… Я все такой же, каким ты меня видела в прошлом году, так же весел, так же спокоен и так же хорошо мне живется во всех отношениях; я не терзаюсь позывами нетерпения, но когда я подумаю, что мне, может быть, скоро предстоит совершенная перемена жизни, то я чувствую такую сильную радость, что мне даже не верится, что это в самом деле возможно. Пойми ты меня, я человек, полный жизни; мне необходимо, чтобы жизнь затрагивала меня с разных сторон, а между тем жизнь моя полтора года тому назад остановилась и замерзла в одном положении. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни был для меня новым и очень сильным впечатлением, но теперь я уже извлек из этого нового положения все, что можно было извлечь. Я развился и окреп в моем уединении, и теперь я чувствую, что мне было бы очень полезно и приятно перейти в какую-нибудь новую сферу жизни. Я залежался на одном месте и потому буду чрезвычайно рад, когда меня куда-нибудь сдвинут. Куда – я об этом не спрашиваю. Я ко всему сумею привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойным и довольным.

Стало быть, друг мой, если ты встанешь на мою точку зрения, то ты не только не будешь бояться близости решения, а, напротив того, ты будешь желать, чтобы решение состоялось как можно скорее.

Перед тобой и передо мною стоит чаша с довольно горьким напитком; мы вот уже полтора года все собираемся выпить это питье и всё морщимся

в ожидании неприятного ощущения, а чашка все-таки полна, и оттого, что мы долго разбираемся в ней, не убавляется ни одной капли жидкости, и самая жидкость вовсе не становится вкуснее. Стало быть, чем скорее мы возьмем чашку в руки и начнем пить, тем лучше будет и для тебя, и для меня – я-то уже давно в этом убедился и с самого начала желаю только, чтобы в меня поскорее влили эту микстуру. Уж такое я питье мудреное устроил, что никак от него не отвертишься”.

Надо заметить, что, когда приговор был объявлен, минуты уныния почти совершенно уже не находили на Писарева. Особенной бодростью отличаются его письма 1864–1865 годов, т. е. третьего и четвертого годов заключения. Впрочем, некогда было и тосковать. Этот двухлетний период – самый плодотворный из всей литературной деятельности Писарева. В течение одного только 1865 года Писаревым были написаны 50 печатных листов, и притом каких! Статья “Посмотрим” может служить образцом русской полемической литературы; в ней одной больше ума, чем во всех писаниях многочисленных противников Писарева, потому-то те очень благоразумно поступают, что никогда не говорят о ней. Им бы пришлось в таком случае считаться с миросозерцанием, не устаревшим и в наши дни, – миросозерцанием, положившим камнем своим краеугольным трудовое начало и великолепные слова:

> “Конечная же цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека состоит все-таки в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать”.

Не буду упоминать о многочисленных популяризациях, относящихся к этому периоду высшего подъема писаревского духа и таланта, – популяризациях, одушевленных высоким желанием создать в России реально мыслящую деятельную интеллигенцию, которая могла бы навеки явиться оплотом развития нашей бедной родины.

Здесь, в крепости, Писарев впервые познал славу. Об этом несомненно свидетельствовали постоянные нападки бесчисленных врагов его… Стоило ему сказать слово, чтобы отовсюду поднялись брань, спор, крики негодования, нотации и т. д. Почти каждая его статья была тем первым выстрелом, которым начинается обычно сражение. И в этой борьбе, лихорадочной работе, беспрерывной ожесточенной полемике рос талант Писарева и крепли его убеждения. Глубже и глубже присматривался он к

жизни и, отрешаясь постепенно от юношеских увлечений, увидел наконец на дне жизни великую и основную проблему наших дней: голодного и холодного.

Слава (несомненная и очевидная) радовала Писарева. Как это ни странно, но есть люди, которые боятся успеха, как есть другие, боящиеся света солнца или свободного пространства. Для человека с больной душой успех представляется чем-то пугающим, страшным, как любовь молодой девушки, влекущая за собой столько трудных и страшных обязательств. Но Писарев был не из таких. Слава окрыляла его, здоровье позволяло работать “вовсю”, как он любил выражаться, и расположение его духа почти неизменно оставалось бодрым и приподнятым.

Незначительные огорчения доставлял лишь Благосветлов, который то дулся, то капризничал, то как-то слишком ухаживал. Кто поверит, что Писареву на вершине его славы приходилось писать такие, например, письма своему патрону из крепости:

> “Григорий Евлампович. Твое последнее письмо страдает крайней неопределенностью выражений, и потому я прошу тебя дополнить его некоторыми комментариями. Ты пишешь: “на будущее же время ты можешь предлагать “Русскому слову” какие угодно условия, а я буду принимать или отвергать их, смотря по нравственной деликатности наших отношений и по моей возможности, но прошу меня уволить один раз и навсегда от всяких полицейских ревизий”. Я, со своей стороны, никаких новых условий предлагать “Русскому слову” не намерен; старые же наши условия состоят в том, что я получаю 50 р. за печатный лист и, кроме того, четвертную долю барышей, когда они окажутся в наличности. Если ты этими существующими условиями недоволен, то это уже твое дело предлагать мне новые условия и мое дело принимать или не принимать их. Поэтому прошу тебя или формулировать новые условия, или объявить мне, что мы остаемся при старых. Я полагаю, что наши отношения основывались до сих пор и должны основываться не на нравственной деликатности, а на нашей взаимной выгоде. Мне выгодно работать за известную плату в известном журнале, а издателю выгодно печатать мои работы; нравственная деликатность тут ни при чем. Что же касается до твоей просьбы от увольнения тебя от полицейских ревизий, то я без малейшего труда могу ее исполнить, по той простой причине, что я до

настоящей минуты подобных ревизий не производил. Если же ты подразумеваешь, что я посылал в твою квартиру полисменов и личностей, искусных в подсматривании, то мне остается только пожалеть о том, что ты разбрасываешь в частной переписке такие полемические драгоценности, которые следует приберегать для печати. Что никто не может удерживать меня в “Русском слове”, это я прекрасно знаю и без твоих пояснений, но что я не имею ни малейшего желания отходить от такого журнала, которому в продолжение четырех лет были посвящены все мои умственные силы и который отчасти обязан своим успехом моим работам, это, я думаю, ты понимаешь очень хорошо и без моих объяснений. Отойти теперь от “Русского слова” – значило бы отказаться от жатвы с того поля, которое я вспахал и засеял вместе с тобою и другими нашими сотрудниками. Если твоя нравственная деликатность не возмущается подобными предложениями, то я думаю, что на такой нравственной деликатности мудрено строить какие бы то ни было прочные отношения.

Поэтому я и предлагаю тебе для фундамента этих отношений, вместо нравственной деликатности, взаимную выгоду, что совершенно согласно с нашею общею теорией последовательной утилитарности и систематического эгоизма. Наше объяснение, происходившее 4-го августа, произвело между нами некоторую холодность; если бы отношения наши были основаны на нравственной деликатности, то эта возрастающая холодность легко могла бы привести за собою разрыв, что, во всяком случае, было бы с нашей стороны непростительной глупостью и даже нарушением наших общественных обязанностей. Но так как нам обоим невыгодно расходиться, то я надеюсь, что мы не разойдемся. Любить друг друга мы, может быть, совсем не будем, но это взаимное любление ни на что не нужно. Ты по-прежнему будешь отыскивать и доставлять мне как можно больше хороших книг для того, чтобы я писал в твой журнал занимательные статьи; а я по-прежнему буду писать как можно лучше

*(5 авг. 1865 г.)”.*

Писарев к этому времени, как видит читатель, уже настолько раскусил Благосветлова, что не желал с его стороны ни деликатности, ни

возвышенной подкладки для отношений вообще. Он любил не Благосветлова, а журналистику и, прежде всего, “Русское слово”, в любви к которому он то и дело объясняется в письмах к матери. Успех журнала радует его и беспокоит. Он пишет, например, тому же Благосветлову:

> “Правда ли, что у нас всего 1700 подписчиков? Если правда, то не поторопился ли ты прибавить мне по десяти рублей за лист! Если эта прибавка обременительна, то я готов от нее отступиться. Но, разумеется, ты примешь мою жертву только в том случае, если она необходима для существования журнала”.

В том же письме Писарев, нисколько не жалея своих молодых сил, предлагает писать по две статьи в месяц. И – надо себе вообразить! – на такие-то строки и чувства Благосветлов имел грубость и пошлость ответить: “прошу избавить меня от полицейского надзора!”…

Наконец, 18 ноября 1866 года Писарев был освобожден, просидев в крепости 4 года 4 месяца и 15 дней. Ко времени пребывания Писарева в крепости относится небольшое воспоминание Н. Шелгунова, которым я и позволю себе закончить эту главу: “В 1863 году, – рассказывает Н. Шелгунов, – когда я находился в Алексеевском равелине, я узнал от Полисадова (бывшего тогда протоиереем Петропавловского собора), что Писарев находится тоже в заключении. И к Писареву, и ко мне отец Полисадов проявлял большое внимание и часто к нам заходил. Писарев не доверял Полисадову и приписывал его посещения причинам, которых нельзя было бы оправдать, если бы Писарев не ошибался. Полисадов был в этом отношении вне всяких подозрений и держал себя умно, с тактом и осторожно. По крайней мере, таким я его помню. От Полисадова я знал, что Писарев находился постоянно в сильно возбужденном состоянии. Был даже такой случай. Раздражившись на Полисадова, Писарев выгнал его из своей камеры и бросил за ним по коридору книгой. Полисадов отзывался о Писареве с глубоким уважением и сочувствием и, видимо, старался облегчить ему его одиночество”, – за что ему, разумеется, большое спасибо.

*

К четвертому и пятому году заключения Писарева в крепости относится еще один факт, на котором надо остановиться. Известность молодого критика к этому времени была настолько велика, что оказалось

возможным приступить к полному собранию его сочинений, за исключением статей, печатавшихся в “Рассвете”, и кандидатской диссертации об Аполлонии Тианском, появившейся в “Русском слове”, статьи “Посмотрим” оттуда же и кое-каких мелких библиографических заметок. Для Писарева издание это имело значение немалое. Во-первых, оно значительно поправляло его финансы, никогда не находившиеся в блестящем состоянии, а теперь, т. е. в 1866 году, после приостановления “Русского слова”, – и совсем плохие. Во-вторых, оно должно было значительно его ободрить, льстя вполне законному самолюбию. Полное собрание сочинений является обыкновенно как бы венцом литературной деятельности, свидетельствует о несомненном успехе, пожалуй, славе, и редко кому выпадает на долю в 26 лет и всего после пяти лет работы. А слава и успех – вещи такие, какими никогда пренебрегать не следует, да, строго говоря, никто никогда ими и не пренебрегал. Дело, разумеется, во многом зависит от того, каким путем приобретены слава и успех, но в этом отношении Писарев мог быть совершенно спокоен и без малейшего зазрения совести предаться вполне законной радости. Он это и сделал. Получив от Ф. Павленкова предложение на издание, он писал матери по обыкновению в своей полушутливой форме:

> “Ну вот, мама, ты все не верила, что твой непокорный сын может сделать кое-что и хорошего, такого, по крайней мере, что бы люди очень ценили и чем бы они очень дорожили. Ан вышло, что ты ошибалась, да еще как! Где это видано, чтобы издавалось полное (заметь, maman, полное, а не “избранные” и пр.) собрание сочинений живого, а не мертвого русского критика и публициста, которому всего 26 лет и которого г-н Антонович считает неумным, Катков – вредным, Николай Соловьев – антихристом и пр. Признаюсь, мне это приятно, что меня издают, да еще деньги за это платят, которые нам теперь совсем не лишние. Заживем, мамаша, заживем, да еще как. Предчувствую, что еще несколько лет работы, и я так высоко заберусь на литературный Парнас, что ты и Верочка, и Катя станете звать меня не Митей уже, а Дмитрием Ивановичем, а я благосклонно разрешу всем вам сохранять прежнее мое наименование. Итак – успех. Повторяю, я рад, и вот еще почему. Вообще, я человек очень самоуверенный и себе цену. знаю, но, несмотря на всю мою самоуверенность, я все же чувствую потребность проверить свои заслуги оценкой других. Слава – это признание в тебе обществом силы, дарования,

полезности. И потому я рад вдвойне”.

Первая часть полного собрания сочинений благополучно вышла в свет в 1866 году, но со второй отучился инцидент: она наскочила на цензурный камень. В этой второй части были перепечатаны из “Русского слова” статьи “Русский Дон-Кихот” и “Бедная русская мысль”. Хотя и “Русский Дон-Кихот”, и “Бедная русская мысль” были разрешены в 1862 году предварительной цензурой, новые веяния 1866 года заставили цензуру отнестись к ним со всею строгостью и привлечь к суду издателя.

При жизни Писарева все же вышли в свет 8 частей, 9-я и 10-я были уже посмертными.

# ГЛАВА IX

Миросозерцание Писарева. – Эмансипация личности. – Утилитаризм. – “Реалисты”. – Принцип экономии сил. – Любовь, труд, знание. – Разлад с “Современником”. – Отношение Писарева к народу. – Педагогические взгляды Писарева. – Писарев как критик

Выступая сотрудником “Русского слова”, Писарев был твердо убежден лишь в одном догмате будущего своего миросозерцания. Этим догматом была эмансипация личности путем настойчивой работы ума и критической мысли. Несмотря ни на что, – ни на семейные связи, ни на общественные приличия и обычаи, ни на предрассудки, которые, быть может, и даже наверное дороги ей как воспоминания детства, как совет и убеждения близких людей, – личность должна выработать свою собственную свободу и самостоятельность, свою физиономию и смело предстать с нею перед лицом всего мира. На что же может опереться эта эмансипированная личность? Так или иначе ей придется утерять многое, что прежде поддерживало ее, – утерять наивность своих верований, так содействующих спокойствию духа, утерять привязанность и выйти из теплого дома традиции, приличий, повиновения – на бурю и непогоду самостоятельной жизни. Для такого подвига нужен стимул, нужен мотив достаточно сильный, чтобы предпочесть свободу и одиночество, борьбу и усилия уютной обстановке родительского и прародительского дома. Где же найти этот стимул? Писарев отвечает на это очень обстоятельно:

> В работе критической мысли.
> В наслаждении самостоятельностью.
> В наслаждении развитием.

> “Все ищут счастья, но истинное счастье человек может найти лишь тогда, когда станет самим собой, когда найдет возможность свободно проявлять свои мысли и чувства и определит влечения своей природы”.

Стимулом является счастье, наслаждение. Но какое счастье, какое наслаждение? На этот пункт писаревской доктрины до сих пор недостаточно обращали внимания. Правда, философски он не разработал

его и, как в большей части случаев, говорил от себя, опираясь на личный опыт. Разумеется, он начал с самого элементарного и энергично включал в область наслаждения все, что доставляет человеку приятные эмоции, все, что неотразимо влечет его к себе, все, обладание чем доставляет физическое или нравственное удовлетворение. “Fais ce qui voudras”,[25] – говорил он, в сущности, и лишь в свободе других видел ограничение личности. Заметим, кстати, что в этом периоде наиболее истинным определением государства он считал “охранительное учреждение, избавляющее отдельную личность от оскорблений и нападок со стороны внешних и внутренних врагов”.

“Будь самим собою”, живи в собственное свое удовольствие и не обращай внимания на то, что говорит о тебе общество.

“Те условия, – пишет Писарев, – при которых живет масса нашего общества, так неестественны и нелепы, что человек, желающий прожить дельно и приятно, должен совершенно оторваться от них. Это возможно, так как если вы однажды навсегда решитесь махнуть рукой на пресловутое общественное мнение, какое слагается у нас из очень неблаговидных материалов, то вас, право, скоро оставят в покое; сначала потолкуют, подивятся или даже ужаснутся, но потом, видя, что вы не обращаете внимания и что эксцентричности ваши идут своим чередом, публика перестанет вами заниматься…”

Перед личностью открываются увлекательные перспективы, она может любить, верить, ненавидеть, страдать и наслаждаться не с чужого голоса, не с точки зрения общепринятого и общепризнанного, а опираясь на истинный источник всякой радости и счастья – на влечения собственной натуры. Осуществится, скажем мы от себя, тот идеал, о котором когда-то мечтали Эпикур, Рабле, Фурье, Морелли, и из жизни исчезнет идея обязательства и долга, так как нет истины в них, так как, ломая себя, подчиняя свое влечение внешнему началу, человек по необходимости лжет перед великим судьей – своей природой, своей неотразимой потребностью свободно любить, свободно верить.

“Человек, – говорит Писарев, – действительно уважающий человеческую личность, должен уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почувствует свое “я” и отделит себя от окружающего мира. Все воспитание должно измениться под влиянием этой идеи; когда она глубоко проникнет в сознание каждого взрослого неделимого, всякое принуждение, всякое насилование воли ребенка, всякая ломка его характера сделаются невозможными, мы поймем тогда, что формировать характер ребенка – нелепая претензия; мы поймем, что дело

воспитателя – заботиться о материальной безопасности ребенка и доставлять его мысли материалы для переработки; кто старается сделать больше, тот посягает на чужую свободу и воздвигает на чужой земле здание, которое хозяин непременно разрушит, как только вступит во владение. Когда мы поймем все это? Не знаю…”

Тот же вопрос Писарев смело мог бы повторить и в настоящее время. Ценность ярко выраженной индивидуальности понимают единицы, громадное же большинство торопится слиться с массовым началом и дурно или хорошо провести жизнь под его защитой. Оставляя в стороне причины, мы можем признать, что одним из самых ярких явлений в жизни личности наших дней является боязнь самой себя, иногда – совершенно основательный, а подчас и совершенно ребяческий страх перед своей мыслью, своей верой и убеждением, даже любовью. Обращусь для подкрепления своего взгляда к Глебу Успенскому. Всякий знает, что этот талантливый писатель далеко не в восторге от современности и постоянно жалуется на нее. Он жалуется на многое, но среди его жалоб особенно резко и настойчиво звучит одна – это жалоба на обездушение, на обезличение как главнейший результат воздействия нашей жизни на человека. В каких комических по форме и грустных по существу эпизодах проявляются порою у героев Успенского желания быть собою, хоть что-нибудь сделать по-своему, хоть чем-нибудь да проявить себя! Припомните, например, мещанина, убежавшего на берег реки от самодурства “мамынки”. “Мещанин снял сапог, стал его рассматривать, стучать по нему кулаком и бормотать: “что же… Ничего! Возьму вот сыму… сапог… д-да! а потом надену… Ничего? И другой сыму… И над-дену… И преотлично! Плевать мне на…” Бедняга утешается своей свободой в деле надевания и снимания сапога, а любви своей не сумел и не смел отстоять! Припомните лентяя у того же Успенского, к которому, еще совсем мальчику, шло столько бородатого народа, потому что у мальчика было что-то свое за душой. Но вот место, где Успенский словами старика из “Заячьей совести” особенно полно высказывает свои мысли: “Сердца в людях нет, – сказал старик, – вот нынешнее поколение. Может ли он быть гневен, или может быть он добр?… Нету!.. Плюнь ему в рожу – у него рука не осмелится на оплеуху… Понадейся на него – не выручит…” Но хорошо ли, по крайней 'мере, самому этому обездушенному герою современности? Может ли он хотя бы для себя рассчитывать на здоровую человеческую жизнь? “Нет, ангел мой, – продолжает тот же старик, – не получишь ты развлечения настоящего, потому что сердце твое неправильное; направление-то в нем заячье… Оно говорит: “Жалей” – а ты боишься; оно говорит: “Не стерпи, возопи” – а ты

опять боишься, ну, и стало быть, неопрятно у тебя на сердце-то… И идет по земле не жизнь, а так, гнилье грибное”.

Впрочем, увеличивать цитаты из Успенского бесполезно; ежеминутно возвращается он к своей излюбленной мысли, ежеминутно скорбит, что человека-то в жизни нет. Та же тоска о человеке – сущность поэзии Гаршина, источник негодования Щедрина. И ведь на самом деле есть о чем тосковать, из-за чего негодовать. С заячьей душой, с боязнью самого себя, своего чувства и мысли не уйдет далеко никто. Его наука – раз он человек науки – не двинется дальше цитат из первоисточников и установления хронологических дат; его искусство ограничится “реалистическим” изображением телеграфных столбов, его любовь исчезнет и расплывется в страхе перед семьей и семейными заботами, его дружба не выдержит ни одного испытания – да и способен ли он еще на настоящую любовь и дружбу, вместо которых давно уже изобретено столько развратных фальсификаций… “Человеком будь!” – учил Писарев, а разве не в этом разгадка бытия?…

Итак, прежде всего перед нами: 1. Идея эмансипации личности.

Переходим к другой: 2. Идея утилитаризма, за которую, кстати заметить, Писареву достается теперь больше, чем за что-нибудь другое. Откуда появилась она у него?

“Ведь если бы, – говорит А.М. Скабичевский, – Писарев захотел проводить свою теорию до конца и быть последовательным ей, то он должен бы оправдать и чистое искусство, и научное педантство, против которых в то время сам ратовал… Это будет показывать только, что у одного одни естественные влечения, у другого – другие, у третьего – третьи”.

Разумеется, так оно и должно было случиться, но Писарев очень скоро стал самым горячим и убежденным пропагандистом идеи пользы. Первое время он даже хватал через край в этом отношении. Многое, очень многое потянуло Писарева к “пользе”, т. е. самой презренной пользе, которая, по мнению одного современного молодого писателя, “омрачила столько умов”. Омрачился ею и Писарев. Прежде всего, надо заметить, что, начав работать в “Русском слове”, он попал в компанию искренних утилитарь-янцев, таких, как, например, Зайцев, Соколов и другие. Plus royalistes que le roi,[26] эти господа носились с “пользой”, как с писаной торбой, ежеминутно утрируя вполне верную идею Милля. Но Писарев пошел и в этом случае своей дорогой, и если утилитарьянцы “Русского слова” оказывали на него влияние, то разве на первых порах. Затем, он ознакомился за это время более близко с произведениями Добролюбова и Чернышевского. Уже во

второй половине своей статьи “Схоластика XIX века” Писарев очень почтительно отзывается о Чернышевском, а впоследствии написал о его произведениях две глубоко сочувственные статьи “Мыслящий пролетариат” и “Разрушение эстетики”.

Мне кажется, что и сама журнальная работа должна была приблизить Писарева к точке зрения “общеполезного”, хотя на первых порах он и открещивался от нее, если не в статьях, то, по крайней мере, в разговорах и письмах. Еще в 61-м и 62-м годах Писарев откровенно пояснял, что гражданские подвиги и идея добра, “пользы” его решительно не вдохновляют. Почему? По той простой причине, что гражданские подвиги и служение идее добра, раз нет к тому специального природного влечения, являются своего рода рабством, по меньшей мере, крепостным состоянием.

Но Писарев принялся за постоянное сотрудничество и видел, что статьи его пользуются успехом. Как же смотреть на литературную деятельность и на назначение литературы? Вот этот вопрос должен был встать перед его ясным и проницательным умом во всей своей наготе и откровенности. Другое дело, будь у него чисто художественный талант, он бы мог еще спрятаться за ширмы “творчества”, “божественного глагола” и т. д. Но публицисту это сделать нелегко. Натура же прямо толкала Писарева на публицистическую деятельность. Один, два опыта в области беллетристики прекрасно доказали ему, что тут даже г-жа Попова – увы! – уже забытая писательница душераздирательных, преисполненных гражданскою скорбью и “эмансипацией женщин” повестей, – куда выше его, так как она все же умела связать начало с концом, запутать и распутать интригу, и хотя и “суздальскими” штрихами, но все же рисовала характеры. А Писарев этого не умел. Начатая им незадолго до поступления в больницу Штейна повесть благополучно оборвалась на третьей главе, так как Писарев никак не мог выбраться из отвлеченных рассуждений и “заставить своих персонажей ходить, сидеть, целоваться”. Ум его был слишком аналитическим, воображение – слишком слабым. Публицистическая критика – вот его настоящее призвание; но, спрашивается, что же это за публицист, который бы так или иначе, в той или другой форме не держался идеи общественной пользы? Это что-то совершенно особенное, несообразное, вроде художника, отрицающего цвета и краски, или музыканта, не признающего тона. “Литература полезна” – это Писарев твердо знал и в это твердо верил, но, разумеется, его дело решать, как и в каком смысле она может быть полезной.[27]

Невозможно, наконец, предположить, чтобы такая чуткая и впечатлительная натура, как Писарев, проходила мимо очевидных явлений

своего времени с равнодушием глухонемого или заядлого теоретика. Его даже упрекают за излишнюю чуткость, и как же мог он не воспринять идею общественной пользы, которая в то время захватила всех и в Западной Европе, и у нас! Время было горячее, особенно в 61-м году, – основа старорусского быта, т. е. крепостное право, была наконец уничтожена. Случилось и еще нечто: русским людям дали право свободно мыслить и рассуждать, с большей или меньшей степенью свободы оценивать достоинства и недостатки патриархального быта, закабаления женщин и т. д. Мысль встрепенулась, записали бесчисленные перья и стали перебирать все стороны нашей жизни. После того как пало крепостное право, если не все, то многое казалось возможным, осуществимым, и настроение общества – по крайней мере, лучших представителей – было глубоко практическим, действующим.

Людей 60-х годов Шелгунов называет идеалистами земли. Этим он хочет сказать, что они горячо и страстно верили, но вера их не уходила за пределы небесного свода, а вращалась исключительно возле человеческого счастья здесь, на земле, – как бы устроить человеку хорошее и спокойное существование, как бы обеспечить его мысль, достоинство, свободу от каких бы то ни было случайностей, как бы дать ему свободное время, чтобы он успел и поучиться, и подумать… Люди увлекались этими вопросами, тратили на их разрешение все силы своих недюжинных талантов…

Повторяю, идея общественной пользы – сама по себе обязательная для публициста – висела в воздухе и пронизывала собой ту атмосферу, в которой жил и дышал Писарев.

Совершенно естественно, что как литератор и критик он прежде всего приложил ее к литературе и художественным произведениям. От литературы он требовал, чтобы она, оставив высоты теорий и отвлеченности, спустилась на землю и принялась за просвещение публики общепонятным языком и на фактическом основании. От художественного произведения он требовал ценного содержания, которое могло бы расширить кругозор читателя. Он – одно время, по крайней мере, – вдавался в крайность и доходил до отрицания формы. Впрочем, вот его подлинные слова из статьи “Разрушение эстетики”:

“Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно – пустая забава”. Цитируя эти слова Чернышевского, Писарев прибавляет от себя: “Что такое мыслящий человек? Что именно достойно внимания мыслящего человека? Эти вопросы опять-таки должны решаться каждым отдельным критиком. А

между тем от решения этих вопросов зависит в каждом отдельном случае приговор критика над художественным произведением. Решивши, что содержание неинтересно или, другими словами, недостойно внимания мыслящего человека, критик, основываясь на подлинных словах автора “Эстетических отношений”, имеет полное право посмотреть на данное произведение с презрением или сострадательной улыбкой”.

Крайности, до которых Писарев одно время доводил эти взгляды, общеизвестны; следовательно, останавливаться на них нечего. Гораздо любопытнее взглянуть на тот синтез, который он дал двум краеугольным идеям своего миросозерцания, т. е. эмансипации личности и общественной пользы.

*

Статья Писарева “Нерешенный вопрос” или “Реалисты”, испытавшая на себе во время печатания в журнале нечто вроде “геологического переворота”, представляет настоящее profession de foi – исповедание веры. Она очень объемиста, около 150 страниц убористой печати, в смысле же страстности и блеска изложения может быть причислена к лучшим литературным произведениям публицистики. С содержанием “Реалистов” нам необходимо ознакомиться возможно подробнее, что, впрочем, совсем не скучно.

“Мне кажется, – говорит Писарев, – что в русском обществе начинает вырабатываться в настоящее время совершенно самостоятельное направление мысли. Я не думаю, чтобы это направление было совершенно ново и вполне оригинально, но самостоятельность его заключается в том, что оно находится в самой неразрывной связи с действительными потребностями нашего общества”. Прежде было иначе: отцы и деды забавлялись мартинизмом, масонством и вольтерьянством, мыслительная работа была нужна им от скуки, ради препровождения времени, но “мы теперь знаем, что делаем, и можем дать себе отчет, почему мы берем именно это, а не другое”. У нас есть действительные потребности: “во-первых, мы бедны, а во-вторых, – глупы”. Глупость и бедность не какие-нибудь мечтательные бедствия, а бедствия реальные, и, чтобы победить их, надо притянуть к живой, полезной деятельности все силы русского общества. Где же и в чем она, эта живая, полезная деятельность? “Во-первых, известно, что значительная часть продуктов труда переходит из рук рабочего населения в руки непроизводящих потребителей. Увеличить

количество продуктов, остающихся в руках рабочего, – значит уменьшить его нищету и дать ему средства к дальнейшему развитию… Во-вторых, можно действовать на непроизводящих потребителей, но, конечно, надо действовать на них не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только к тем личностям, которые желают взяться за полезный и увлекательный труд, но не знают, как приступить к делу и к чему приспособить свои силы. Те люди, которые по своему положению могут и по своему личному характеру желают работать умом, должны расходовать свои силы с крайней осмотрительностью и расчетливостью, т. е. они должны браться только за те работы, которые могут принести обществу действительную пользу. Такая экономия умственных сил необходима везде и всегда, потому что человечество еще нигде и никогда не было настолько богато деятельными умственными силами, чтобы позволять себе в расходовании этих сил малейшую расточительность. Между тем расточительность всегда и везде была страшная, и оттого результаты до сих пор всегда получались самые жалкие. У нас расточительность также очень велика, хотя и расточать-то нам нечего. У нас до сих пор всего какой-нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему известному молодечеству, и этот несчастный двугривенный ставим ребром и расходуем безобразно. Нам строгая экономия еще необходимее, чем другим, действительно образованным народам, потому что мы в сравнении с ними – нищие. Но, чтобы соблюдать такую экономию, надо прежде всего уяснить и себе до последней степени ясности, что полезно обществу и что бесполезно. Экономия же умственных сил и есть не что иное, как строгий и последовательный реализм”.

Как же, спрашивается, “экономизировать” свои силы? Нужно ли для этого преобразиться в аскета и столпника, у которого только одна мысль, одно настроение? Вся ли личность принадлежит обществу, или же, завися от общества, будучи обязанной перед ним, она все же имеет право на самостоятельную жизнь, хотя бы часть этой жизни? “Мы, – говорит Писарев, – люди обыкновенные, и если бы захотели выбросить из своей жизни чисто личное наслаждение, то сделали бы себя мучениками и, кроме того, повредили бы даже общему делу; мы бы надорвались, мы бы отняли у себя возможность принести и ту малую долю пользы, которая соответствует размерам наших сил; поэтому нам не следует надуваться, потому что до вола мы все-таки не дорастем, а если лопнем, то вместо экономии окажется чистый убыток. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имеет права посылать вас на работу; общее дело человечества подвигается вперед не барщинной работой, и сгонять на этот

труд ленивых или утомленных людей – значит изображать суетливую муху, помогавшую лошадям втаскивать в гору тяжелый рыдван… Когда вы отдыхаете, вы принадлежите самому себе; когда вы работаете, вы принадлежите обществу… Если же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имеет никакого значения для него, тогда вы можете быть вполне уверены, что вы совсем никогда не работаете и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему с цветка на цветок. Мартышкин труд не есть работа”.

Из этих слов видно, что если Писарев и утилитарист, то совершенно в другом смысле, в каком считаем мы утилитаристом Милля. Это различие необходимо иметь в виду. Милль требовал от нравственной личности общеполезной деятельности и, строго говоря, был склонен не обращать ни малейшего внимания на те мотивы и побуждения, которые заставляют человека совершить общеполезную работу. Спасти утопающего полезно и необходимо, но кому какое дело, во имя каких, собственно, соображений бросился я в реку? Быть может, меня охватила любовь к ближнему, быть может, тут замешалось мое честолюбие, и, как рыцарь, совершавший геройский поступок, я думал в это время о своей даме; а может быть, меня прельстила награда совсем материальная? Каким бы ни был мотив, я совершил нравственное дело, а сумма таких нравственных дел даст мне право назваться нравственной личностью, хотя, быть может, в глубине души я нечто совсем другое. Словом, для утилитарной морали важен самый факт совершения полезного дела.

Писарев пошел гораздо дальше, и пошел он дальше по той простой причине, что резко и энергично вышел из рамок морали и стал на другую, более широкую точку зрения.

Слова “полезный поступок” отличаются большой неопределенностью. Есть поступки более полезные, менее полезные и даже совсем бесполезные, которые, однако, принято считать полезными. Всякий ведь знает, что существует и мартышкин труд. И “можно сказать, что большая часть мартышкина труда производится в каждом человеческом обществе по чистому недоразумению. Трудящаяся личность в большей части случаев добросовестно и искренне убеждена в том, что она трудится для человека и общества; это обаятельное убеждение придает ей бодрость и вдохновляет ее во время труда; если вы поколеблете в ней это убеждение, у нее опустятся руки и для нее настанет очень тягостная минута разочарования и уныния; но за этою минутою явится сильное стремление к настоящей пользе и крутой поворот к какой-нибудь другой деятельности, достойной мыслящего человека и добросовестного гражданина. В результате

получится, таким образом, экономия умственных сил, и эта экономия будет гораздо более значительна, чем это может показаться читателю с первого взгляда”.

В этой-то экономии сил и заключается, по-моему, глубокое различие Писарева от утилитарьянской морали во вкусе Милля. Представьте себе, что где-нибудь считается общеполезным делом толочь воду в ступе. Гражданин ничтоже сумняшеся предается этому прекрасному занятию и даже с большим усердием. Утилитарист, увидя такого гражданина, скажет ему: “Вы нравственны и добродетельны, хотя несколько глупы, вероятно”, – и пожмет ему руку. Писаревский реалист от такого гражданина отвернется с презрением. Почему? По той простой причине, что мало совершать общеполезное дело, а необходимо, чтобы общеполезное дело освещалось критической мыслью.

Пойдем, однако, дальше.

До мотива морального акта утилитаристу, как мы видели, решительно дела нет. Но реалисту дело есть. Прежде всего на сцену выступает критическая мысль, которая уже сама по себе, говоря человеку о том, что действительно полезно и что полезно лишь призрачно, – может играть роль мотива. Но одного умственного побуждения недостаточно; нужно нечто большее. Это большее выражается в требовании, чтобы труд был живым наслаждением для личности и вместе с тем полезным для общества.

Быть может, это покажется странным читателю, но все же Писарев всего полнее свой взгляд высказал в отношении к искусству. Позволю себе привести следующие блестящие места из его статей:

“Последовательный реализм, – говорит он, – безусловно презирает все, что не приносит существенной пользы; но слово “польза” мы принимаем совсем не в том узком смысле, в каком навязывают нам наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говорим поэту: “шей сапоги” или историку – “пеки пироги”, но мы требуем непременно, чтобы поэт, как поэт, и историк, как историк, приносили каждый в своей специальности действительную пользу. Мы хотим, чтобы создания поэта ясно и ярко рисовали перед нами те стороны общественной жизни, которые необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и действовать. Мы хотим, чтобы исследование историка раскрывало нам настоящие причины процветания и успеха отживших цивилизаций. Мы читаем книги единственно для того, чтобы посредством чтения расширять пробелы нашего личного опыта. Если книга в этом отношении не дает нам ровно ничего, ни одного нового факта, ни одного оригинального взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничем не шевелит и не оживляет нашей мысли, то мы называем

такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая внимания на то, писана ли она прозою или стихами, и автору такой книги мы всегда с искренним доброжелательством готовы посоветовать, чтобы он принялся шить сапоги или печь кулебяки”.

Словом, будь поэтом, историком, журналистом, пирожником или сапожником, только будь на своем месте. Поэзия и история общеполезны, но горе тому, кто без права, обусловленного его дарованиями, его наклонностями, силой его мысли и наблюдательности, берется за это общеполезное дело. В таком случае уже “горе ему, приносящему вред”.

Помнит ли, затем, читатель следующую блестящую характеристику поэта? В этой же характеристике заключается ответ на вопрос, как может поэт быть полезным.

“Самородки, подобные Бернсу и Кольцову, – пишет Писарев, – остаются навсегда блестящими, но бесплодными явлениями. Истинный, полезный поэт должен знать и понимать все, что в данную минуту интересует самых умных и самых просвещенных людей его века и его народа. Понимая вполне глубокий смысл каждой пульсации общественной жизни, поэт как человек страстный и впечатлительный непременно должен всеми силами своего существа любить то, что кажется ему добрым, истинным и прекрасным, и ненавидеть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелких и дрянных глупостей, которая мешает идеям истины, добра и красоты облечься в плоть и кровь и превратиться в живую действительность. Эта любовь, неразрывно связанная с этою ненавистью, составляет и непременно должна составлять для истинного поэта душу его души, единственный и священнейший символ всего его существования и всей его деятельности. “Я пишу не чернилами, как другие, – говорит Берне, – я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов”. Так, и только так должен писать каждый писатель. Кто пишет иначе, тот должен шить сапоги и печь кулебяки. Поэт, самый страстный и впечатлительный из всех писателей, конечно, не может составлять исключения из этого правила. А чтобы действительно писать кровью сердца и соком нервов и чтобы эта любовь и ненависть были действительно чисты от всяких примесей личной корысти и мелкого тщеславия, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сделано, когда поэт охватил своим сильным умом весь великий смысл человеческой жизни, человеческой борьбы и человеческого горя, когда он вдумался в причины, когда он уловил крепкую связь между отдельными явлениями, когда понял, что надо и что можно делать, в каком направлении и какими пружинами следует действовать на умы читающих людей, тогда бессознательное и бесцельное творчество

делается для него безусловно невозможным. Общая цель его жизни и деятельности не дает ему ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его к себе; он счастлив, когда видит ее перед собой яснее и ближе; он приходит в восхищение, когда видит, что другие люди понимают его пожирающую страсть и сами с трепетом томительной надежды смотрят вдаль на ту же великую цель; он страдает и злится, когда цель исчезает в тумане человеческих глупостей и когда окружающие его люди бродят ощупью, сбивая друг друга с прямого пути. Человек, прикоснувшийся рукою к древу познания добра и зла, никогда не сумеет и, что всего важнее, никогда не захочет возвратиться в растительное состояние первобытной невинности. Кто понял и почувствовал до самой глубины взволнованной души различие между истиной и заблуждением, тот вольно или невольно в каждое из своих созданий будет вкладывать идеи, чувства и стремления вечной борьбы за правду. Итак, по моему мнению, истинный поэт, принимаясь за перо, отдает себе строгий и ясный отчет в том, к какой общей цели будет направлено его новое создание, какое впечатление оно должно будет произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажет им своими яркими картинами, какое вредное заблуждение оно подроет под самый корень. Поэт – великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный “рыцарь духа”, как говорил Гейне, или же поэт – ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт – титан, потрясающий горы, или поэт – козявка, копающаяся в цветочной пыли. И это не фраза, это строгая психологическая истина”.

Чем-то могучим и страстным веет от этой патетической тирады, и какими забытыми представляются эти слова при современных литературных нравах! Писатели без мелкой корысти, без мелкого тщеславия – где вы? Где вы, стоящие на высоте интересов самых лучших, умных и просвещенных людей эпохи? Забитые в угол, влачат они, эти писатели, мизерное существование, слушая торжествующие возгласы современного прохвоста.

Однако, оставляя в стороне пафос, возвратимся на минуту к писаревскому реализму.

Сердцевина его заключается, как мы видели, в экономии умственных сил. Экономия эта обусловливается прежде всего критической мыслью, избирающей действительно полезную работу, и затем натурой.

Поэты родятся – такова мысль Писарева. Без заложенного природой обойтись нельзя. Наука, образование воспитывают и преобразуют природные дарования, без науки и образования они – блестящие метеоры –

и только. Надо стремиться к общеполезному, но какую область этого общеполезного вы изберете – зависит от внутренних качеств вашего духа и натуры.

По моему убеждению, такое признание индивидуальности как определяющего фактора является опять-таки безусловно необходимым с точки зрения экономии сил. И, проповедуя такую теорию, Писарев сближается с лучшими умами человечества.

У меня нет места и времени, чтобы следить дальше за “реалистами” Писарева. Надеюсь, однако, что сущность этой новой породы людей понята читателем. Реалист – это мыслящий работник, с любовью занимающийся трудом; реалист, построив свою жизнь на идее общественной пользы и разумного труда, относится презрительно и враждебно ко всему, что разъединяет человеческие интересы, и ко всему, что отвлекает человека от общеполезной деятельности. Какой же труд общеполезен, где та почва, работая на которой можно на деле следовать общечеловеческим интересам? Это прежде всего почва науки, знания. И эта наука должна как можно шире получить распространение в массе людей, стать основанием всякого труда.

> “Трагические недоразумения между наукой и жизнью будут повторяться до тех пор, пока не прекратится гибельный разрыв между трудом мозга и трудом мускулов. Пока наука не перестанет быть барскою роскошью, пока она не сделается насущным хлебом каждого здорового человека, пока она не проникнет в голову ремесленника, фабричного работника и простого мужика – до тех пор бедность и безнравственность трудящейся массы будут постоянно усиливаться, несмотря ни на проповеди моралистов, ни на подаяния филантропов, ни на выкладки экономистов, ни на теории социалистов. Есть в человечестве только одно зло – невежество, против этого зла есть только одно лекарство – наука; но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый прием этого лекарства увеличивает страдания больного организма. Сильный прием ведет за собою радикальное исцеление. Но трусость человека так велика, что спасительное лекарство считается ядовитым”.

Нельзя не залюбоваться этим блестящим изложением принципов интеллектуального демократизма. Все человечество является перед нами ассоциацией мыслящих и знающих работников. Принцип

общечеловеческой солидарности установлен на прочных основаниях. Но пусть подумает читатель, какие личности могут быть солидарны между собой? Те ли, которые представляют привилегии рода или интересы собственности? Нет, такие по необходимости разъединены и между собой, и с другими. Возьмите феодала и крепостного цензитория. Толкуйте им об общечеловеческой солидарности сколько вам заблагорассудится, и все ваши проповеди окажутся горохом, брошенным об стену, в чем довольно наглядно и постоянно убеждалась католическая церковь в первой половине средних веков. Возьмите капиталиста и рабочего. Несмотря на все синдикаты, которые устраиваются и там, и здесь, солидарность между ними все же проблематична, раз в их взаимные отношения не вмешивается принудительное начало в лице государства. Даже два капиталиста лишь в редких случаях могут быть солидарны между собою, и если сегодня они действуют заодно, то кто же поручится, что они не будут завтра врагами на рынке? Следовательно, раз речь идет об общечеловеческой солидарности, надо твердо знать, к кому, собственно, обращаться с такой проповедью. Писарев понимал это и, прежде чем заговорить о солидарности, определял, как он понимает личность. Личность выражается для него в труде, и только в нем одном. У нее нет портретов предков, она не может похвастать подвигами своих праотцов, у ней нет внешней силы – денег, например, – на которую она могла бы опираться и игнорировать “закон природы”. Реалист – это мыслящий работник, и только, труд – нерв и основа его жизни; интересы реалиста и личности – это интересы труда.

Развивая и расширяя эту точку зрения, можно понять, в каком Направлении стала бы работать могучая мысль Писарева, проживи он не 27 лет на свете. Но судьба не хотела этого.

Отношение Писарева к народу. Народом Писарев занимался сравнительно очень мало: к этому не подготовили его ни воспитание, ни условия его личной жизни. Очевидно, что не народ привлекал главное его внимание, а те люди, “которые хотят знать и учиться, но не знают, как взяться за дело”. Им-то и писал он: “Мне хочется сообщить как можно больше хороших идей и дать им как можно больше реальных сведений”. Читатель, я думаю, и сам понимает, что по своей “умственной” натуре, по трезвому направлению своей мысли, народником в общепринятом смысле слова Писарев не мог быть никогда. Народничество предполагает сердечную любовь к мужику, непременную веру в хорошие качества его натуры, его доброту и нравственность. Обстоятельства жизни Писарева сложились так, что он всегда стоял вдали от народа и видел его или из окна Знаменского дома, или на страницах повестей и романов. Поэтому никаких

нежных чувств питать к нему он не мог. Но как прогрессист и либерал он, разумеется, не мог находить ничего хорошего во тьме и невежестве, в каких пребывает русский народ. Он хотел для него знания, хороших книг, хороших школ, он не относился равнодушно к тому великому событию, которое совершилось у него на глазах, – к уничтожению крепостного права; но не видно, чтобы это обстоятельство потрясло его до глубины души: он был тогда слишком молод.

“Мужика надо любить”… Этой формулы Писарев принять не мог уже по той простой причине, что в спасительную силу любви он не верил. А что в мужике надо уважать его человеческое достоинство и, следовательно, давать ему возможность развиваться, идти вперед – в этом Писарев не сомневался. Достоинство человека и выражалось, главным образом, для него в стремлении к развитию и совершенствованию…

Вот, если не ошибаюсь, то место, в котором Писарев особенно полно высказался по вопросу об “обязанностях интеллигенции перед народом”.

“Наконец-то, – пишет он, – общество начинает сознавать, что на нем лежит обязанность делиться с народом знаниями и идеями… Необходимость народного образования вошла в общественное сознание, но между теоретическим и практическим решением вопроса лежит целая бездна. Давно ли в наших журналах рассуждали и спорили о том, нужна ли народу грамотность. Вопрос этот решен утвердительно, но самая возможность подобного спора, самая необходимость доказывать аксиому служит осязательным примером того, как ново и непривычно для нас дело народного образования. И это неудивительно. Потребность умственного прогресса была отодвинута в нашей жизни на задний план, и мы, вместо истинного образования, довольствовались одними внешними условиями его; мы не видели, или, лучше, не хотели видеть, что позади нас есть миллионы других людей, которые имеют одинаковое право на человеческую жизнь, образование и социальное усовершенствование. Теперь мы сознаем, что без этих миллионов людей мы недалеко уйдем со своей привозной цивилизацией и со своим просвещением, взятым напрокат. Таким образом, великой задачей нашего времени является умственная эмансипация масс, через которую предвидится им исход к лучшему положению не только их самих, но и всего общества. Школой нашего воспитания является весь народ, а воспитателем его – образованное меньшинство. В теории мы знаем, что надо делать… Но если нельзя браться кое-как с налету за воспитание ребенка, то тем более нельзя с кое-какими теоретическими сведениями приступать к народу. В первом случае мы рискуем приготовить обществу дурного гражданина, может быть,

несчастную жертву порока, во втором – мы принимаем на себя тяжелую ответственность за всю нацию…”

Надо, однако, знать народ, чтобы можно было с успехом воспитывать его. “Народ ближе стоит к природе и смотрит на окружающий его мир яснее, чем мы, потому что взгляд его не омрачен предубеждениями и ложными понятиями нашей жизни… Но потому-то нам и трудно наблюдать и анализировать народную жизнь; мы обыкновенно подступаем к ней с предвзятыми идеями и даем свой собственный произвольный смысл действительным явлениям. Мешает изучению народной жизни и то совершенно законное недоверие, которое питает мужик ко всякому, кто носит не народное платье. И как будет он верить? Мы для него до сих пор ровно ничего не сделали, мы его трудами жили в течение столетий, и он это помнит той самой памятью, которая до сих пор хранит в народной песне воспоминания о Дунае-реке и о Владимире Красном Солнышке. И мы должны признаться, что при настоящем положении дела изучение народности только что начинается. История разлучила нас с народом гораздо раньше Петра”.

Приходится пожалеть, что Писарев, увлекшись своей пропагандой среди людей среднего состояния и тратя все свои громадные силы на создание истинной интеллигенции, совершенно не занимался вопросом о народе. В приведенных выше мыслях оригинального, правда, нет ничего, но меня, например, положительно подкупает реализм и трезвость направления. Ни народничества, ни мистицизма, ни того обычного страха, с каким интеллигент подступает обыкновенно к серой массе, боясь разочароваться в том, что вся она состоит из сермяжных ангелов. Надо учить народ, но чтобы учить – нужно знать кого учишь, “надо знать своего воспитанника вдоль и поперек”. А чему учить? Очевидно, тому же, что и нам самим полезно для трудовой и счастливой жизни, т. е. надо учить реальному, давать пригодные к жизни сведения, а не обучать “добродетели” и уж отнюдь не учиться добродетели, как делают некоторые из моих современников. Все посылки у Писарева имеются, выводов он сделать не успел…

Педагогические воззрения Писарева. Наши педагоги имеют привычку или совсем ничего не читать, или же зачитывать до дыр разные немецкие или вообще иностранные брошюрки, а на то, что у нас под руками, они лишь изредка обращают свое благосклонное внимание. Педагогу прежде всего необходимо знать детскую душу, – что сделано у нас для изучения детских типов, с такой яркостью выведенных в произведениях Достоевского, Толстого, Помяловского? Есть ли у нас хоть одна статья, хоть

одна маленькая заметка о педагогических воззрениях Писарева? А между тем ими бы стоило позаняться, что я и рассчитываю сделать в другом месте. Пока же несколько общих соображений.

Теория Писарева несколько односторонняя, раз ее приходится прилагать к вопросам общественным, но безусловно справедлива в области педагогики. Писарев сам инстинктивно сознавал это и посвятил школе и воспитанию целый ряд блестящих статей. Вот они:

1. “Наша университетская наука”.
2. “Мысли Вирхова о воспитании женщин”.
3. “Педагогические софизмы”.
4. “Школа и жизнь”.
5. “Погибшие и погибающие”.

Кроме того, Писарев постоянно затрагивает мимоходом те же самые вопросы в различных своих статьях. И хотя бы кто-нибудь из наших педагогов обмолвился и вспомнил дни своей юности, когда он зачитывался Писаревым, впитывая в себя “яд” и нектар свободной жизни.

О педагогических воззрениях Писарева можно написать целое и очень полезное исследование. К сожалению, моя биография и так уж разрослась: нужно беречь место.

Все излюбленные идеи Писарева – духовная самостоятельность личности, уважение индивидуальности, экономия сил, реализм сведений – все они должны найти, и рано или поздно найдут, свое место в будущих педагогических системах. Здесь для них полный простор, здесь им не придется сталкиваться ни с “системой экономических противоречий”, ни с политическими программами. Писарев в полном смысле слова может быть назван педагогом-теоретиком, ибо что же он делал, как не учил тому, как надо учиться, развивать свой ум, совершенствовать свою личность, а через нее общественный строй.

Воспитание должно развить и образовать характер человека, приучить его ум к самостоятельной работе, его чувство – к вере в самого себя, к уважению чужого достоинства, должно снабдить его суммой полезных и необходимых сведений и тем мужеством, которое позволяет человеку бодро выносить неудачи жизни и становиться на ноги даже после сильных ударов судьбы.

“Надо прежде всего беречь в ребенке его самого, надо уважать в нем то, что не может быть приобретено никакими усилиями и не может быть куплено ни на какие деньги, – словом, его личность, его оригинальность, данную ему от природы. Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен уважать ее в своем ребенке. Все

воспитание должно измениться под влиянием этой идеи”.

Так учит Писарев. И это как нельзя более справедливо. Не проходит ли через всю нашу воспитательную систему уродливое стремление обезличить человека с минуты его первого лепета вплоть до получения всевозможных аттестатов? Чисто механическая система усвоения, отсутствие живого интереса и нравственной связи между учащими и учащимися – вот то мертвящее всякое благое начинание зло, с которым на первых же порах приходится встречаться каждому, кто мало-мальски углублялся в изучение педагогики.

Читатель уже знает воззрения Писарева на этот счет. Он припомнит в этом месте его убийственную характеристику гимназического курса, припомнит письмо к матери, где, объясняя свой разлад с нею, Писарев говорит, что причина такого разлада кроется в “воспитательном деспотизме”, в пренебрежении внутренним я воспитанника и в желании сделать из него нечто на свой собственный образец. А природа? Ведь она же вкладывает в человека его силы, его влечения и страсти… Воспитание должно лишь регулировать их, должно подавлять дурное, развивая ум, но “формировать характер – нелепая претензия”.

Отсутствие уважения к природе, к естественным наклонностям и даже потребностям организма можно встретить на каждом шагу. Припомните, с какой страстностью Писарев защищал здоровье учащихся детей. “Пусть, – говорит он, – школа поглощает время воспитанников, не давая им за это время прямо полезных знаний, но пусть она, по крайней мере, не посягает на их здоровье”. Хотя бы это! Но “когда мы смотрим на слабого, бледного и притупленного юношу, мы имеем полное право сказать с законной гордостью: вот дело рук наших. Мы заставляли его учиться, когда ему хотелось спать, мы заставляли его сидеть на месте, когда ему хотелось бегать, мы держали его в четырех стенах, когда ему необходимо было дышать свежим воздухом, мы мужественно боролись со всеми естественными стремлениями этого строптивого организма и, как видите, мы достигли того, что этот организм утратил всю свою строптивость и в настоящую минуту не стремится решительно ни к чему”.

Последнее время мы как-то особенно усердно “трепали вопрос” о переутомлении учащихся. Решусь напомнить, что этот вопрос ровно 30 лет тому назад был поднят и великолепно разработан Писаревым. Итак, физическое здоровье как основа самостоятельной личности – это необходимый minimum и вместе с тем краеугольный камень. Тот же принцип смело может быть приложен и к области воспитания умственного. Взваливать на ребенка слишком много – это величайшее зло.

“Я твердо уверен, – пишет Писарев, – что ни гимназия, ни университет, ни какое-либо другое учебное заведение не могут и никогда не будут в состоянии выпускать в свет совершенно образованных людей, то есть таких людей, которым незачем было бы трудиться больше над собственным развитием и приобретать новые знания собственными усилиями. Когда школа хочет заменить человеку самообразование, тогда она берется совсем не за свое дело и, стараясь сделать для учащегося юношества чересчур много, не делает даже того, что составляет ее прямую и естественную обязанность. Самообразование составляет необходимую и в высшей степени законную фазу человеческого развития. Школа должна стремиться не к тому, чтобы избавить человека от трудов самообразования, а к тому, чтобы сделать эти труды возможными и плодотворными. Школа должна возбудить в человеке любознательность и, во-вторых, развернуть и укрепить силы его ума настолько, чтобы человек, выходя из школы в жизнь, мог без посторонних руководителей искать и находить разумное удовлетворение своей любознательности”.

Писарев как критик. Слава Писарева основывается на его критических статьях. И, в самом деле, трудно представить себе более увлекательное чтение. Пылкое и вместе с тем полное юмора изложение, слог, близкий к разговорному и вместе с тем удивительно изящный, художественная полнота, с которой развивается мысль без этих неприятных скачков и постоянных отступлений на несколько верст в сторону, – делают любую статью Писарева и доступной для всех, и интересной для всех. Среди своих поклонников Писарев насчитывал немало гимназистов и девушек. Передают даже комическую формулу, с какой когда-то мужья 60-х годов обращались к своим супругам-шестидесятницам: “Матушка, или хозяйством заниматься, или Писарева читать” – затем следовали свирепые взгляды на недожаренное жаркое или переваренный картофель. Все это говорит совсем не о том, что Писарев высказывал “маленькие” мысли, а лишь о его литературном искусстве, об удивительном мастерстве словесном и той привлекательности, которую он умел придавать самым сухим материям. Изящество и легкость его статей ничуть не мешают серьезности их содержания. Пожалуй, даже наоборот: талант Писарева как бы разгорался, встречая себе препятствия, и достигал своего кульминационного момента там, где трудность разбиравшегося вопроса была наибольшей. Это о форме статей Писарева. Публицистическая сторона их целиком вращается возле одной драмы русской жизни, которую он подметил с первых же шагов своей литературной деятельности. Разъяснять эту драму, раскрывать перед читателем всю ее полную

неприглядного мрака глубину он считал своей главной обязанностью и не забывал о ней ни на минуту, лишь только перо попадало в его руку. Читатель знает эту драму. Ее сущность сводится к тому слишком обычному явлению, когда невежество и предрассудки засасывают свободную человеческую личность. Страшная драма – кончается ли она смертью героя, или тем, как, постепенно привыкнув к своему халату и туфлям, человек осоловелыми глазами смотрит на мир Божий, не воспринимая из него ни мысли, ни доброго чувства, ни стремления к живой деятельности, а лишь неотразимый позыв к зевоте. “Безличность, безгласность, умственная лень и вследствие этого умственное бессилие – вот, – говорит Писарев, – болезни, которыми страдает наше общество, наша критика; вот что часто мешает развитию молодого ума, вот что заставляет людей сильных, ставших выше этого мещанского уровня, страдать и задыхаться в тяжелой атмосфере рутинных понятий, готовых фраз и бессознательных поступков”. Произведения Писемского, Тургенева, Гончарова служили Писареву обильнейшим материалом для иллюстрации “драмы”. В “Тюфяке”, например, три молодые личности, не обиженные природой, измучиваются, вянут и гибнут. В этих личностях нет ничего особенного ни в хорошую, ни в дурную сторону; они не гении и не уроды; одаренные достаточной долей ума и практического смысла, они могли бы прожить себе в свое удовольствие, вырастить с полдюжины детей и умереть спокойно, оставив по себе приятное воспоминание в сердцах благодарного потомства, т. е. своих детей и внучат. Выходит совсем не то, что следовало ожидать. Один из трех – Павел Бешметев – спивается с круга и умирает в молодых летах. Другая – жена Бешметева – проводит молодость в грубых семейных сценах и остается вдовой тогда, когда уже не знает, что делать со своей свободой; третья – сестра Бешметева – посвящает жизнь свою служению обязанности, живет для своих детей, терпит дурака-мужа, полу-Ноздрева, полу-Манилова, и медленно хиреет, потому что с одной обязанностью не проживешь жизни.

“И это жизнь! – восклицает Писарев, – стоит ли заботиться о своем пропитании, поддерживать свое здоровье, беречься простуды только для того, чтобы видеть, как день сменяется ночью, как чередуются времена года, как подрастают одни люди и стареют другие. Если жизнь не дает ни живого наслаждения, ни занимательного труда, то зачем же жить? Зачем пользоваться самосознанием, когда сам не находишь для него цели и приложения?…”

За этой-то драмой гибели человеческой личности “в тяжелой атмосфере рутинных понятий, готовых фраз и бессознательных поступков”

Писарев следил, повторяю, с постоянным напряженным вниманием. Писемский как человек особенно близкий к действительности, исключительно не терпевший какой бы то ни было идеализации, пользуется большой его симпатией, и он частенько возвращается к его романам, черпая в них то, чего ему не хватало по недостатку личного опыта. У Писемского он нашел своих вечных детей, “для которых последнее произнесенное слово служит законом и для которых против бессознательного крика большинства нет апелляций”,– своих карликов. Но такие статьи, как “Погибшие и погибающие”, вводят нас уже в область темного царства, где горе – не от одной рутинности понятий.

Самостоятельной теории искусства Писарев не создал; впрочем, он мало и занимался им. В литературном произведении был важен для него прежде всего тот материал, который оно заключает в себе. Материал ничтожен или лжив – Писарев мечет громы и молнии; правдив, важен – Писарев пользуется им для проведения своих излюбленных идей. Выдуманного он терпеть не может, но отсюда совершенно не следует, чтобы он требовал от художника быть фотографическим аппаратом, и только. Как в каждом человеке Писарев ценил больше и прежде всего свободно и смело выраженную индивидуальность, так и в художнике. “Поэт должен воплощать в себе лучшие стремления своего века, должен страдать страданьем мира и радоваться его радостью. Он пишет кровью своего сердца. А чтобы действительно писать кровью сердца, необходимо беспредельно и глубоко сознательно любить и ненавидеть, и чтобы эта любовь и ненависть были действительно чисты от всяких примесей личной корысти и мелкого тщеславия, необходимо много передумать и многое узнать”. Любовь и ненависть на прочном фундаменте личного опыта и знания – вот что больше всего ценится Писаревым в поэтическом произведении. Действующая, боевая точка зрения на жизнь, воодушевлявшая его постоянно, перенесена в область искусства. Однозначно смотрел он и на критику: он требовал, чтобы критик выражал себя, боролся и проповедовал во имя своей любви и ненависти.

# ГЛАВА X

На свободе. – Разрыв с Благосветловым. – Новая любовь. – Из воспоминаний о Писареве А.М. Скабичевского. – Слава. – Переход в “Отечественные записки”. – Смерть Писарева

Выйдя из крепости, Писарев поселился вместе с матерью и сестрами в маленькой и скромной квартире на Петербургской стороне. Он чувствовал себя утомленным, измученным; в нем пробуждалась страстная потребность полного умственного отдыха. Но надо было писать, чтобы жить. Эти последние годы ему приходилось зачастую насиловать себя, берясь за перо, и он то и дело жалуется на какую-то апатию.

Первое время, как я сказал, он жил в семье, но вскоре денежные средства стали настолько скудными, что мать и младшая сестра должны были отправиться в деревню, в Грунец. Писареву предстояло новое испытание, быть может, даже горшее в сравнении с тем, какое он вынес во время заключения в крепости. Правда, он был на свободе, правда, известность и слава его были уже упрочены, и находились даже идейные барышни, несколько психопатически настроенные, просившие его в виде особой милости взять их к себе в горничные, но мерзость жизни пересиливала то, что было хорошего. С недостатком в деньгах он еще мирился довольно легко и мужественно занимался редакцией переводов (Брэма, Шерра и т. д.) по 5 и 7 рублей с листа, сам даже переводил (Шерра, “История цивилизации в Германии”), но самое обидное было то, что он вдруг остался не у дел. Он поссорился с Благосветловым, и поссорился раз и навсегда. По искреннему моему убеждению, здесь-то, в эпизоде разлада, а затем и разрыва с Писаревым, проявилась вся мелочность, все буржуйство благосветловской натуры. Ссора произошла, разумеется, из-за пустяков, но эти пустяки были лишь поводом, причины же лежали глубже. Суть дела мне представляется такою: Благосветлов, заметив нервность и переутомление Писарева, несколько изменил тон своих отношений с лучшим своим сотрудником и поспешил похоронить его талант, стал намекать, что “мы, дескать, и без вас очень даже свободно обойдемся”. Несомненно, что Благосветлов с поразительной пошлостью распускал направо и налево сплетню о том, что Писарев выдохся, и т. д. Разумеется, тот не мог этого перенести и, не считая нужным подделываться к патрону, оставил его без жалоб и упреков. А ведь было бы за что упрекнуть и на что жаловаться, были и обещания со стороны Благосветлова уделять Писареву

четверть дохода, был на виду и тот несомненный факт, что “Русское слово” создано было Писаревым и держалось, и славилось прежде всего им. Но в течение 1866 года отношения еще продолжались, и Писарев работал для благосветловских изданий, сначала в “Русском слове”, прекращенном с январской книги, а затем написал две статьи и для сборника “Луч”. В следующем году, когда Благосветлов начал “Дело”, Писарев не имел уже с ним больше ничего общего. О ссоре своей он писал Н.В. Шелгунову:

> “Николай Васильевич! Я перед вами виноват без оправдания. Вызвавшись, в разговоре с Л.П., заботиться об интересах вашей умственной жизни, я до сих пор не только не указал вам ни одной книги и не сказал вам ни одного дельного слова, но и вообще не ответил толком ни на одно из ваших писем. Теперь я пишу к вам, чтобы сообщить известие, которое, по всей вероятности, будет вам очень неприятно и, может быть, значительно уронит меня в ваших глазах. Я разошелся с тем журналом, в котором мы с вами работали, и должен вам признаться, что разошелся не из принципов и даже не из-за денег, а просто из-за личных неудовольствий с Григорием Евлампиевичем (Благосветловым). Он поступил невежливо с одною из моих родственниц, отказался извиниться, когда я этого потребовал от него, и тут же заметил мне, что если отношения мои к журналу могут поколебаться от каждой мелочи, то этими отношениями нечего и дорожить, у меня уже заранее было решено, что если Г.Е. не извинится, я покончу с ним всякие отношения. Когда я увидел из его слов, что он считает себя за олицетворение журнала и смотрит на своих главных сотрудников как на наемных работников, которых в одну минуту можно заменить новым комплектом поденщиков, то я немедленно раскланялся с ним, принявши меры к обеспечению того долга, который остался на мне. Эта история произошла в последних числах мая. Так как я не имею возможности содержать в Петербурге целое семейство, то моя мать и младшая сестра в начале июня уехали в деревню, а я остался; ищу себе переводной работы и веду студенческую жизнь. Теперешний адрес мой: по Малой Таврической, дом № 23, кв. № 2. Вы, может быть, скажете, Николай Васильевич, что из любви к идее мне следовало бы уступить и уклониться от разрыва. Может быть, это действительно было бы более достойно серьезного общественного деятеля. Но признаюсь вам, что я на это не

способен”.

Итак, разрыв произошел. Повторяю, Писарев, создавший “Русское слово”, придавший ему лицо, без которого оно не имело бы ни малейшего права на самостоятельное существование, должен был оставить свой собственный журнал. Это любопытный факт в истории нашей литературы, и, к сожалению, не единственный. Ведь за несколько лет перед этим то же самое случилось с Белинским. Любопытно, что оба эпизода даже в мелочах похожи друг на друга. Как Благосветлов направо и налево распускал слухи, что Писарев выдохся, и готов был похоронить его живым, точно так поступал и Краевский по отношению к Белинскому. Равно как “Отечественные записки” 40-х годов были созданы Белинским, так и “Русское слово” было создано Писаревым. Тому и другому – и Белинскому, и Писареву – пришлось испытать всю “черную” неблагодарность со стороны предпринимателей, составивших себе состояние их трудами и вдохновением. Как литературные работники они, несмотря на талант, несмотря на привязанность и восторги публики, оказались бессильны в борьбе с издательским капризом и мошной. Каприз и мошна победили: высосав из Писарева и Белинского лучшие соки, Краевский и Благосветлов выбросили их чуть ли не на мостовую. Судите как угодно, но это недурная иллюстрация наших литературных нравов.

Что же, скажет читатель, оставив один журнал, всегда можно найти другой. Белинский переселился в “Современник”, Писарев – в “Отечественные записки”…

Подобное рассуждение доказывает полное незнакомство с психологией журналиста. Как моряк привязывается к своему кораблю и находит его самым красивым из всех, как каждый из нас привязывается к своему дому, земледелец к своей пашне и своему хозяйству – так и журналист к своему журналу. Лишь работая в нем, чувствует он полноту свободы. У него уже есть своя публика, свои поклонники, которые привыкли к нему, понимают его с полуслова, извинят ему оплошность, лучше других оценят его достоинства. В своем журнале ему уже не приходится тратить силы на “обживание”; на новом месте это необходимо. Не всегда к тому же бывает легким делом отыскать новое место. Так случилось и с Писаревым.

Оставив “Дело”, он очутился не у дел. Всякий заурядный писатель нашел бы себе место в каком-нибудь из второстепенных журналов, но Писареву нужно было занимать или первое место, или никакого; первое же место было возможным для него лишь в “Деле”, единственном по

направлению журнале, в котором Писарев мог бы найти себе полный простор. Отказываясь же от “Дела”, приходилось отказываться и от журналистики, и как раз в такое время, когда она походила на утлый челн, получивший пробоину. “Современник”, “Русское слово” были закрыты окончательно, остались только “Отечественные записки”, “Литературная библиотека”, “Библиотека для чтения”, “Женский вестник”, “Русский вестник”, в которых для писателей “Современника” и “Русского слова” места быть не могло.

Вот к этому-то времени Писарев, в ноябре 1867 года, опять писал Шелгунову:

> “Николай Васильевич! Я все лето собирался написать к вам, а осенью уже перестал собираться и думал, что, должно быть, не напишу никогда. Вчера я получил ваше письмо и сегодня отвечаю на него. Вы желаете знать подробности о положении нашей журналистики. Я сам стою теперь в стороне от нее. С “Делом” я разошелся в конце мая вследствие личных неудовольствий, и с тех пор не сходился с ним. Получая книжки “Дела” и видя мое имя в каждой из них, вы могли думать, что мы помирились. Но этого нет и, вероятно, не будет. В “Деле” печаталась и печатается до сих пор моя большая историческая работа, которая была отдана туда задолго до нашего разрыва и которую я не считал себя вправе брать назад, тем более что начало ее было уже отпечатано. Я не участвую ни в “Деле”, ни в каком бы то ни было другом журнале. Что же у нас теперь, кроме “Дела”, есть в журналистике? “Отечественные записки” – известный вам разлагающийся труп, в котором скоро и червям нечего будет есть. “Всемирный труд”, в котором роль первого критика играет Николай Соловьев; “Литературная библиотека”, или – вернее – собрание литературных инсинуаций и абсурдов; “Женский вестник”, которого издательница ведет постоянно до сорока процессов в мировых судах по поводу отжиливанья денег.
>
> Все, что здесь доступно оку;
> Спит, покой ценя;
> Нет, не дряхлому востоку
> Покорить меня!

> И конечно, не этим журналам заманить меня. Есть действительно слухи о том, что затевается новый журнал, в котором будут участвовать некоторые из прежних сотрудников “Современника”. Но эти слухи много раз проносились и оказывались ложными или, по крайней мере, преждевременными. Как бы то ни было, но до сих пор я не получил никакого приглашения участвовать в этом ожидаемом журнале. И, вероятно, я его не получу. Партия “Современника” меня не любит и несколько раз доказывала печатно, что я очень глуп. Искренно ли было это мнение – не знаю, но во всяком случае сомневаюсь, чтобы Антонович и Жуковский захотели работать со мной в одном журнале”…

Писарев не жалуется. Он находит еще в себе силу шутить. Но пусть, хотя бы на основании общечеловеческой психологии, читатель постарается проникнуть в его душу. Одна жестокая необходимость (оставив первое место в журналистике и возможность постоянного общения с читателем) заниматься переводами ради куска хлеба может сломить всякого. Писарев похож на рыбу, выброшенную на берег.

Посмотрим, как живет он в это время. 14 июня 1867 года он пишет матери:

“Был у Ковалевского, желая узнать подробности о тех работах, которые он намерен мне предложить.

Встретил он меня очень дружелюбно. В результате свидания оказалось, что он поручит мне переводить с немецкого книгу Шерра “История цивилизации в Германии”. Потом обедал в компании у кухмистера по 30 коп. с персоны”.

Письмо от 16 июля:

> “Ты, право, не знаешь, что это значит, когда три типографии с трех разных сторон требуют материала для работы и когда, кроме того, имеется в виду необходимость приготовить через 2 месяца 15 листов оригинального писания. Я перечислю все, что лежит у меня теперь на руках: 1) я редактирую перевод физиологии Дрепера для Луканина; 2) я редактирую перевод Брэма для Ковалевского; 3) к октябрю я должен перевести 5 листов Дрепера и 4) 15 листов Шерра; 5) к октябрю я должен приготовить для некрасовского сборника 15 листов оригинальной работы”.

В этой скучной, серенькой жизни было, однако, кое-что светлое. Прежде всего заметим, что Некрасов, этот прозорливый журналист, с чутьем настоящего редактора завязал отношения с Писаревым. Случилось это так:

“Ко мне, – пишет Писарев матери (3 июля 1867 г.), – неожиданно явился утром книгопродавец Звонарев и сообщил мне, что Некрасов желал бы повидаться со мною для переговоров о сборнике, который он намерен издать осенью. Если, дескать, Вы желаете, Николай Алексеевич сами приедут к Вам, а если можно, то они просят пожаловать к ним сегодня утром. Я ответил, что пожалую, – и поехал. Прием был, разумеется, самый любезный. С первого взгляда Некрасов мне ужасно не понравился; мне показалось у него в лице что-то до крайности фальшивое. Но уже минут через пять свидания прелесть очень большого и деятельного ума выступила передо мною на первый план и совершенно изгладила собою первое неприятное впечатление. Было говорено достаточно – и о сборнике, и о предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел. Практический результат свидания получался следующий. Некрасов просил меня написать для сборника статьи 2–3, всего листов 10, о чем я сам пожелаю. Я решил, что о “Дыме”, потом о романах Андре Лео и еще о Дидеро. Все это Некрасов совершенно одобрил. Я сказал, что мне платили в “Русском слове” и в “Деле” по 50 рублей за лист и что меньше этого я взять не могу. На это Некрасов отвечал, что он никогда не решится предложить мне такую плату и что в его сборнике норма будет 75 р. за лист. Я согласился и на это. Затем я сказал, что в настоящее время я живу переводами и что мне, для того чтобы работать для сборника, надо будет на несколько недель отказаться от переводов. Чтобы существовать во время этих нескольких недель – потребуются деньги, а у меня их нет. Некрасов предложил мне немедленно вперед, сколько потребуется. Я отказался от наличных, но попросил записку, по которой, в случае надобности, могу немедленно получить 200 р. Записка была немедленно написана и лежит у меня в шкатулке”.

Значит, со стороны работы дело несколько прояснялось, но, к сожалению, силы были надорваны, и пять лет заключения давали себя чувствовать. Писарев видел это, сознавал это и мучился. “Я, – пишет он, – совершенно здоров, т. е. хорошо ем, хорошо сплю и т. д. Но неуменье думать, читать и писать продолжается. Вернется ли?…”

Про то же говорит и А. М. Скабичевский, навестивший Писарева в 1867 году.

“Я, – рассказывает он, – застал Писарева в хандре и

раздражительности. Он жаловался, что ничего у него не пишется: напишет страницу и сейчас же разорвет.

– А все причиной моя несчастная любовь! – воскликнул он с той прозрачной откровенностью, какою всегда отличался. – Так уж, верно, суждено мне в жизни – влюбляться в своих кузин, и каждый раз безуспешно… А я чувствую, что строчки не напишу, пока не добьюсь торжества своей любви”.

Писарев говорит тут о своей любви к М. М. И эта любовь не слишком много радостей принесла ему, да и дни его уже были сочтены.

В 1868 году открылись “Отечественные записки” Некрасова, и Писарев перешел в них.

“Сторонники “Русского слова”, – пишет А. М. Скабичевский, – превратившегося в 1867 году в “Дело”, говорили, что, перейдя в “Отечественные записки”, Писарев совсем перестал быть прежним Писаревым, увял и обесцветился. Но это было одно пустое злоречие. Если и в самом деле последние три года жизни Писарева не ознаменовались никаким ярким проявлением его таланта, то какие бы обстоятельства ни были причиною этого, во всяком случае переход в “Отечественные записки” был тут ни при чем. Сильно сомневаюсь я, чтобы Благосветлов мог иметь на Писарева какое бы то ни было вдохновляющее влияние, а что платил он ему за статьи, составлявшие главную силу и украшение “Русского слова”, возмутительно мало и скаредно, этого никто не оспорит. “Отечественные записки”, обещая Писареву не в пример большее материальное обеспечение, в то же время предоставляли полный простор для его пера. Он мог быть спокоен, что каждая статья его, что бы он ни написал, будет с радостью принята.

Но правда и то, что, несмотря на все это, Писареву все-таки в “Отечественных записках” было не по себе, и это очень понятно. В “Русском слове” его хотя и обсчитывали, но за ним все-таки ухаживали, устраивали нарочно для него карточные вечера “по маленькой”, смотрели на него снизу вверх, и он рядом с прочими сотрудниками чувствовал себя великаном среди пигмеев. В “Отечественных записках” перед такими престарелыми уже корифеями, как Некрасов, Салтыков, Елисеев, – Писарев чувствовал себя хотя и талантливым, но все-таки молодым. Поэтому он никогда почти не бывал в редакции “Отечественных записок”. Только два раза видел я его в квартире Некрасова: раз это было на первом обеде, который дал Некрасов своим сотрудникам по выходе первой книжки “Отечественных записок” под новой редакцией в 1868 году. Писарев сидел на этом обеде рядом со мною, молчаливый, сосредоточенный, несколько

даже растерянный среди людей, мало ему знакомых, между которыми к тому же были такие личности, как Салтыков, к которым он так недавно еще относился с самыми беспощадными сарказмами в разгар своей полемики с “Современником”.

– В другой раз, – продолжает А. М. Скабичевский, – я встретил Писарева в редакции “Отечественных записок” в один из понедельников, когда члены редакции и сотрудники собирались обыкновенно от двух до четырех часов, весною в апреле или мае 1868 года. Он влетел в редакцию на этот раз такой веселый и оживленный, каким я его давно не видел. “Должно быть, – подумал я невольно, – он дождался праздника своей любви!” Пришел он с целью проститься перед своим отъездом на лето в Дуббельн на морские купанья. Восторженное расположение духа его, “сияние”, как он сам выражался о подобных моментах своей жизни, еще более просияло, когда вошла в редакцию совершенно незнакомая ему девушка с большим поясным фотографическим портретом его и, узнав подлинник, подошла к нему с робкой просьбой подписаться под портретом, что Писарев тотчас же, конечно, охотно исполнил. Самолюбие его, естественно, было польщено этим проявлением собственной популярности, тем более что произошло оно на глазах людей, перед которыми Писареву особенно важно было заявить о себе. В этом отношении, надо правду сказать, поклонница его не могла избрать более счастливого момента для того дела, с которым явилась к Писареву. Кто она? Жива ли? И если жива, где она? Помнит ли этот эпизод в своей жизни? Во всяком случае, большое ей спасибо за то, что она доставила лишнее светлое мгновенье человеку, который вполне заслужил такого почета, какой она ему оказала.

Думал ли я в то время, что вижу Писарева в последний раз? В то же лето его не стало. Он, как известно, утонул, купаясь в море, в Дуббельне, где проводил лето. Замечателен в этом отношении тяготевший над ним фатум: три раза в своей жизни он подвергался опасности утонуть. В первый раз он едва не утонул в детстве, купаясь в речке, в деревне на своей родине, – его вытащил уже полумертвого мужик. Во второй раз он подвергся опасности утонуть, будучи на первом курсе университета. Известно, что в университет он поступил очень рано – пятнадцатилетним мальчиком. И вот такой студент-отрок однажды весною, незадолго до вскрытия Невы, шел через нее, и вздумалось ему испробовать прочность льда, затянувшего тонким слоем те продольные полыньи, какие весною устраиваются для предстоящей разводки мостов. Он ступил обеими ногами в полынью и тотчас же провалился по горло. И опять-таки явился на помощь спасительный мужик, шедший сзади, и вытащил барина за

воротник пальто.

На третий раз, в Дуббельне, спасительного мужика не оказалось. Замечательно, что в то время как другие тонут, оттого что не умеют плавать, Писарев, напротив, обязан своей смертью именно тому, что был слишком хороший и отважный пловец. Вот как произошла печальная катастрофа, как мне передавали потом близкие люди Писарева, жившие с ним в Дуббельне. Купальное место, где брал морские ванны Писарев, было расположено так, что с берега на некоторое расстояние было мелко; затем следовал глубокий фарватер. За ним – мель; далее – опять глубокое место, опять мель. Будучи хорошим пловцом, Писарев, таким образом, переплывал два или три фарватера, отдыхая на каждой промежуточной мели. Так случилось и на этот раз: судя по тому, где было найдено его тело, можно заключить, что он благополучно переплыл два глубоких места, а в третьем утонул, – вследствие ли нервного удара или судорог – осталось покрытым мраком неизвестности. Он пошел купаться один; место, где он купался, было пустынное, и в то же время он так далеко уплыл, что никто не заметил, когда он погрузился в воду. Лишь продолжительное отсутствие его возбудило тревогу в близких; начались поиски, причем тело его было найдено и вынуто из воды рыбаками по прошествии многих часов после несчастья. Это был вполне уже бездыханный труп, и о спасении жизни утопающего нечего было и думать. Таинственная смерть Писарева не замедлила возбудить массу нелепейших слухов и сплетен в литературных кружках. Так, например, и до сих пор многие подозревают, что Писарев сознательно наложил на себя руки, умышленно утопился. Но это подозрение лишено всяких оснований. Правда, что после психической болезни в студенческие годы, от которой Писарев лечился в больнице Штейна, у него оставались на всю жизнь некоторые признаки психической ненормальности. Он вполне оправдывал в этом отношении теорию Ломброзо, что гении и талантливые люди по самой природе своей – люди психически больные. Но ненормальности эти имели самый невинный характер, выражаясь лишь в минутных страстностях и чудачествах всякого рода. То, например, вдруг ни с того ни с сего, бросив спешную работу, увлекался он ребяческим занятием раскрашиванья красками политипажей в книгах; то, отправляясь летом в деревню, заказывал портному летнюю пару из ситца ярких колеров, из каких деревенские бабы шьют сарафаны. По выходе из крепости Писарев пришел в крайне возбужденное состояние, выразившееся рядом совершенно несообразных поступков: за обедом, например, в одном доме, кажется, у Благосветлова, он смешал на одну тарелку все кушанья и ел эту мешанину, начал вдруг раздеваться в

обществе и т. п. Но это скоро прошло, и Писарев, быстро освоившись со свободою, вошел в свою колею. Но при всех этих чудачествах никогда не был он подвержен мрачной меланхолии, пессимизму, отчаянию. В общем, настроение духа его было всегда полно жизнерадостного сознания своих богатых сил, таланта и популярности. Сиял он, уезжая в Дуббельн “для поправления расшатанных нервов”, как он объяснял выбор дачной местности, сиял и в день смерти. По крайней мере, по достоверным сведениям, какие я имею, отправляясь купаться, он был особенно весел, оживлен и доволен собою и всем окружавшим его, одним словом, пил с наслаждением полную чашу жизни”.

Он умер 4 июля 1868 года.

Писарева похоронили на Волковом кладбище. Благосветлов в день похорон писал Н.В. Шелгунову: “Сегодня похоронили Писарева. Свинцовый гроб его (около 40 пудов) несли до самой могилы, верст пять, молодые люди, и даже молодые дамы помогали. Человек двести шло за гробом, и я радовался, что кружок умных и честных людей понемногу растет. При похоронах Добролюбова, несмотря на то, что они были в ноябре, т. е. при полном сборе людей, понимающих его, я видел не более 50-ти человек. После нескольких слов, сказанных мною над могилою Писарева, две дамы, заливаясь слезами, бросились на его могилу и стали целовать ее. Я дальше не мог говорить и сам заплакал”.

Тут же, на могиле, во время похорон была открыта подписка, но не на памятник, а для стипендии имени Писарева. “И без памятника не потеряется его могила, – писал Благосветлов, – а это все, что нужно. Собрано было на могиле рублей 700, и авось цифра достигнет того итога, какой нужен хоть для уплаты двух матрикул двум бедным студентам”.

“Какая удивительная судьба, – прибавляет от себя Н. В. Шелгунов. – В 1860–1861 гг. (будучи 20-ти лет) Писарев, едва вступивший в журналистику, сразу обращает на себя внимание; следующие затем 4 года он проводит в заключении и создает себе громкую известность и широкое влияние; обессиленный излишне напряженной нервной жизнью, Писарев выходит на свободу с надорванными силами, а через полтора года друзья и почитатели уже плачут над его могилой. Едва ли есть другой пример так быстро и ярко изгоревшей человеческой жизни, лишенной всего того, что люди обыкновенно зовут счастьем. У Писарева не было личной жизни, и в обыденном, и в необыденном смысле; сначала он к чему-то готовился, потом напряженно думал, потом, охваченный нахлынувшими впечатлениями, которых он был лишен в продолжение 4-х лет, потерял равновесие и внезапно умер. И это чувство жизни, оставшееся

неудовлетворенным и постоянно напоминавшее о себе, служит разгадкою характера Писарева и характера его дум и размышлений. Он, кажется, и в самом деле считал себя глубоким эгоистом и по убеждению, и по природе. Как же поступал этот глубокий эгоист и на что истратил он свою жизнь? Всю эту жизнь, все свои силы Писарев истратил, проповедуя, несмотря ни на что и в безвыходном уединении, свою честную идею, к которой он шел прямо, не оглядываясь ни назад, ни вперед, к своей цели. На могиле другого такого же эгоиста Добролюбова Некрасов сказал: “Бедное детство в доме бедного сельского священника, бедное, полуголодное ученье; потом 4 года лихорадочного неутомимого труда и наконец год за границей, проведенный в предчувствиях смерти, – вот и вся биография Добролюбова”. Мало чем краше и биография Писарева.

Его похоронили против Добролюбова через дорожку, и теперь на Волковом кладбище – Белинский, Добролюбов и Писарев спят рядом вечным сном…

*

Прежде чем перейти к оценке роли Писарева в истории русского просвещения, позволю себе дать его характеристику как личности.

По приложенному портрету читатель видит, что он обладал красивым, умным и благородным лицом. Его манеры, несколько развязные в студенческие годы, стали впоследствии сдержанными, так что своей внешностью он в полном смысле этого слова напоминал джентльмена. Шелгунов, встретив его в 1861 году, рассказывает о своей встрече следующее: “Раз утром я зашел к Благосветлову. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным умным лбом и с большими умными, красивыми глазами. Юноша держал себя несколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев. Благосветлов назвал нас по фамилии, мы пожали друг другу руки и перекинулись какими-то незначительными фразами”. Этот красиво нарисованный Шелгуновым портрет Писарева может дать читателю наилучшее представление о его внешности. Самоуверенная, спокойная гордость сознающего свою силу таланта выражалась в его лице, во всей его фигуре. “Его что-то приподнимало”, – говорит Шелгунов, и мы легко понимаем, что этим “что-то” была юность и неизведанная еще глубина волнующихся сил.

Наружность Писарева, как и его слог, отличались той же уравновешенной страстностью и той же смелой самоуверенностью бойца, без всякой торопливости и нервности – этих вечных признаков мелких душ и робких характеров.

Казалось бы, что человек, обладающий такой наружностью и таким блестящим талантом, как Писарев, должен был пользоваться большим успехом среди женщин. Однако история его несчастной любви доказывает, что дело обстояло совершенно иначе. Он возбуждал лишь платонические восторги и привязанности. Как Тургенев, он был “однолюбцем”; страсть к одному существу всецело овладевала им и поглощала его. Ничего донжуанского не было в его натуре, что бы ни говорил он о своем эпикуреизме. Женщины увлекались не им, а его талантом, ореолом его славы.

Отношения Писарева с кузиной и матерью показывают, что он был способен на привязанность без измены и уклонения. Мать он любил горячо, страстно, в тяжелые минуты жизни он обращался к ней с письмами и признаниями, глубиной своего чувства напоминающими признания Некрасова. Одинаково сердечно относился он всегда и к отцу, и к сестрам, помогая последним, где мог, своими советами, книгами, деньгами.

Честолюбие не мучило его, но он знал себе цену и требовал признания. Быстрый, имеющий мало подобных себе в истории литературы успех не вскружил ему головы, а напротив, как здоровому человеку придал еще больше сил, еще больше желания работать на том поприще, где его сразу встретили с изумлением и восторгом, злобою, негодованием и завистью. В нем была чудная черта мужества жизни, не дававшая ему впадать в уныние. Он сильно и бодро смотрел в глаза будущему, готовый на все – удачи и неудачи, радости и испытания. Перечтите его письма из крепости, припомните его гордые слова после прекращения “Русского слова”… Только непомерная работа подточила его силы и мужество, но не неудачи. Хороший человек на месте Благосветлова, понимая, что сделал Писарев для “Русского слова” и русской литературы, дал бы ему возможность оправиться и привести в порядок измученные нервы. Трудно сомневаться, что год или два полного отдыха – вот все, что нужно было Писареву, чтобы засветить по-прежнему, но – увы! – не в наше торгашеское время можно отдохнуть, и сколько сил, сколько талантов упало измученными среди дороги, сколько плетутся по ней, утеряв бодрость и веру от простого переутомления!..

Обычные явления нашей русской душевной жизни, известные под именем “больная совесть”, “больной ум”, не были, к счастью, знакомы

Писареву. Живя в душной атмосфере, иные выработали совершенно особенное мерило для людей. Они ценят и таких, кто утерял всякую смелость и бодрость душевную, кто не смеет признать своего права на личное счастье, кто ушел в угол и страдает там, униженный и пригнетенный. Отчасти они правы. Но для жизни бесконечно дороже другие – бодрые и смелые, готовые на борьбу и победу, с сильно развитым чувством своих неотъемлемых прав на широкое человеческое существование. К таким принадлежал Д.И. Писарев. Он не казнился неоплатным долгом перед народом, не давал впечатлениям жизни давить себя. Не закрывая на них глаза, он в то же время не боялся их.

Жил Писарев всегда очень скромно, то в меблированной комнатке, то в крошечных квартирках. Получая 1500–2000 рублей в год (всего!), он и не мог жить иначе и был доволен. Семья, книги, работа – вот его идеал. Знакомых у него было немного, и вообще он нелегко сходился с людьми, но редким качеством – способностью приобретать друзей и оставаться им верным – он обладал в большой степени. Он был сердечной натурой, несмотря на свою строгость в отношениях с людьми.

Надеюсь, биография его доказала читателю, что он был не только большим писателем, но и большим человеком. Правдивость и мужество – редкие качества, как самородные глыбы золота, – служили лучшим украшением его характера. Но правдивость и мужество создают больших людей. Ни то, ни другое не доступно маленьким, робким смертным.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установить связь идей Писарева с идеями его предшественников нетрудно. Припомните, как отстаивал Белинский личную свободу и самостоятельность.

Современники то и дело обвиняли его за то, что он не признает никаких литературных авторитетов и осмеливается по поводу каждого разбираемого им автора “свое суждение иметь”. Обвинение совершенно справедливое, но мы, разумеется, поставим его в заслугу великому критику. Это “свое суждение” и создало его славу, оно – его право на бессмертие. Литературный авторитет так же вреден, как и всякий другой, раз человек подчиняется ему не сознательно, а лишь из робости мысли и чувства, словом – с чужого голоса. Личность всякого человека должна быть свободна. Этому учил Белинский. Разумеется, эмансипация личности не ограничивалась у него областью литературы и критики. Вооруженный тем же принципом, он смело подходил к вопросам любви, семейной и государственной жизни.

“Наш романтизм, – говорит он, – хлопочет не о том, однажды или дважды должно и можно любить в жизни, но о том, чтобы не разбить другого предавшегося вам сердца и не быть причиной несчастья его жизни. Один так, другой иначе; тот – один раз в жизни, этот десять раз; оба равно правы, лишь бы только на совести которого-нибудь из них не легло ничье несчастье”.

Любовь должна быть свободна, и человеку нечего взваливать на себя груз каких бы то ни было обязательств в деле чувства. “Нет более чувства, – пишет Белинский, – и верность теряет свой смысл”. То же говорит он и о власти родительской: “Если бы отец нашего времени стал отнимать у сына ложе его жизни на основании собственных корыстных расчетов, – все бы увидели, что отец любит себя, а не сына, и тем самым уничтожает свои права над ним: ибо, если нет любви, связывающей отца с детьми, то у детей нет отца”.

Не такое было время, чтобы Белинский мог высказываться свободно, но все же его симпатии и антипатии нам известны очень хорошо. Что привлекало когда-то в его статьях, что продолжает привлекать в них и в настоящее время? Очевидно одно: уважение к человеку, настойчивое требование простора для мысли и чувства. Недаром же Писарев с такой почтительностью относился к Белинскому: он продолжал его дело.

Идея эмансипации личности разрушила крепостное право, создала реформы 60-х годов и внесла много света в темную область старинных семейных условий. Для русской жизни она была откровением и продолжает быть им до настоящего времени. Как пропагандировал ее Писарев – мы знаем.

Следуя духу времени, он придал ей резкую гражданско-утилитарную окраску. Этой стороной своего миросозерцания он, что называется, прирос к 60-м годам и несомненно является одним из самых ярких и талантливых представителей “идеализма земли”. Он ценил все, что улучшает бытие человека здесь, на земле, но один вопрос постоянно смущал – и притом совершенно основательно смущал его мысль: можно ли вливать новое вино в старые мехи?

Какой прок может выйти из всех реформ и благих начинаний, раз сами люди ничтожны? Что поделаете вы с карликами и господами, способными лишь к мартышкину труду? Только то обновление прочно, которое воспринято критически мыслящими умами. История последних 30 лет XIX века доказала, что Писарев прав. Оттого-то он и сосредоточил все свои усилия на воспитании интеллигентных людей, мысль которых являлась бы основой хорошей человеческой жизни. Оттого-то он так страстно проповедовал критику и науку. Остановимся на минуту на термине интеллигентный человек. Это приведет нас к философско-историческим взглядам Писарева.

Интеллигентным человеком Писарев называл того, у кого в голове есть своя самостоятельная мысль. Дело не в образовании, не в знании и не в манерах, а дело в том, чтобы человек в своей собственной жизни, по мере сил и способностей, повторил духовный опыт человечества, насколько это, конечно, возможно.

Каждую формулу необходимо понимать в пределах, указуемых благоразумием. Если говорят, что надо повторить опыт человечества, то это совсем не значит, что следует каждому начинать с состояния троглодита, изобрести самому панталоны и куртки, пройдя предварительно через стадию звериных шкур, потом – огонь, потом – начальство, ибо “нет зла хуже беззакония” – и т. д. вплоть до философии Канта и Спенсера включительно. Это совсем пустяки. Панталоны и куртки изобретены, и довольно уже давно, Кант и Спенсер свою философию написали, и изобретать изобретенные вещи – значит напрасно тратить время. Но начать с того, что в самом способе восприятия выработанного уже материала есть большая разница. Можно воспринимать так, как галчата поступают: раскроют рты, мамаша им туда положит насекомое, они проглотят,

переварят и выбросят. Так когда-то барышни делали, да и те теперь в этом разочаровались. Можно воспринимать иначе: с полным уважением к авторитету и вместе с тем с полным желанием сохранить свою самостоятельность.

Это законно и даже необходимо. Знаменитое декартовское “doute absolue”[28] еще и теперь не утратило своего громадного значения для развития, и, я думаю, никогда его не утратит. Нельзя, конечно, во всем сомневаться и ко всему относиться недоверчиво. Это мотовство и самомнение. Когда вам говорят: “дважды два – четыре”, что тут спорить?

Писарев постоянно твердил, что дорога самостоятельного мышления с должной дозой скептицизма и критицизма – вот единственное, что вырабатывает интеллигентных людей, а не ходячие формулы. Формулы могут быть очень симпатичны, но люди, воплощающие их, могут тем не менее ни к черту не годиться. Они очень скучны – это во-первых; очень подозрительны – это во-вторых. Да, подозрительны. Ведь если они с такой легкостью восприняли сегодня одну формулу, то кто же поручится, что завтра они не воспримут с одинаковой легкостью другой формулы, прямо противоположной первой? Ведь процесс: раскрыть рот, проглотить и переварить – от этого не меняется.

Выработав себя путем самостоятельного мышления, интеллигентный человек отличается поэтому двумя качествами: восприимчивостью к личному опыту, – во-первых; веротерпимостью, – во-вторых.

Можно обучить попугая и сделать обезьяну очень прилично “образованной” молодой особой. Но попугай всю свою попугайскую жизнь будет твердить одно: “дурак попка”, а обезьяна – повторять ряд известных телодвижений. Это-то и грустно, что и среди людей нередки те же самые попугайство и обезьянничанье.

Люди, у которых прекрасно развит бугор двуперстия, к личному опыту, да и не только к личному, а и вообще к любому опыту бесчувственны. Им хоть кол на голове теши, а они знай свое повторяют: “Исус” да “Исус”. Не помню, какому-то типичному аббату средних веков ученик сообщил свое астрономическое открытие, что “на солнце есть пятна”.

– Друг мой, – отвечал типичный аббат, – я всю жизнь внимательно читал Аристотеля, и никаких пятен на солнце у него не показано. Советую и тебе перечесть внимательно творения мудреца.

В данном случае очевидно, что между двуперстием и творениями мудреца решительно никакой разницы нет. Но это-то двуперстие и уничтожает всю красоту, всю полезность интеллигентной деятельности. Писарев ни в чем другом ее красоты не видел, как именно в

оригинальности, в самостоятельности, а когда передо мной, вместо этих прекрасных качеств, штамп, то, признаться, ничего, кроме скуки и самого искреннего позыва к зевоте, никто и ощутить не может.

“Увлечься идеею, – говорит он, – нетрудно, подчиниться идее способен человек очень ограниченных способностей, но такой человек не принесет идее никакой пользы и сам не выжмет из этой идеи никаких плодотворных результатов. Чтобы переработать идею, напротив того, необходим живой мозг; только тот, кто переработал идею, способен сделаться деятелем или изменить условия своей собственной жизни под влиянием воспринятой им идеи, т. е. только такой человек способен служить идее и извлекать из нее для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеям многие, овладевают ими избранные личности; оттого в тех слоях нашего общества, которые называют себя образованными, господствуют идеи, но эти идеи не живут; идея только тогда и живет, когда человек вырабатывает ее силами собственного мозга; как только она перешла в категорический закон, которому все подчиняются, так она застыла, умерла и начинает разлагаться…”

В этих словах Писарева как нельзя лучше изложена разница между человеком интеллигентным, в котором идея живет, и человеком образованным, в котором она лишь пребывает.

Интеллигентных людей характеризует творческая способность, творческая самостоятельность. Степень этой способности может быть очень различна, но, малая или великая, она должна быть и при лучших условиях может быть у большинства.

Так смотрел Писарев на интеллигентных людей. Они – соль земли, инициаторы всего хорошего, их критическая мысль – залог прогресса и устойчивость этого прогресса.

Следовательно, чтобы пересоздать жизнь, надо прежде всего эмансипировать личность и открыть ей дорогу как к развитию, так и проявлению самой себя.

*

Совершенно понятно, почему идея эмансипации личности так страстно пропагандировалась русской журналистикой с самой первой минуты ее сознательного пробуждения и проходит красною нитью через сочинения лучших наших критиков и публицистов. На Западе личность осознала себя уже в XVI веке и потребовала к себе внимания и уважения,

хотя бы в области религиозных верований. Карлейль уверяет, что новую историю надо начинать со слов Лютера: “Hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir”, т. е. “Я настаиваю на том, что это истина, иначе думать и верить не могу. Бог да поможет мне”. Лютер сказал, что он имеет право толковать Священное Писание, как он его понимает, и верить сообразно со своим разумом. Французская революция признала личность как политическую единицу, и лишь особенные обстоятельства ограничили понятие личности принадлежностью к одному классу собственников – буржуа. В буржуазной же среде личность достигла и экономической независимости, но опять это была не простая человеческая личность, а собственница. Как бы то ни было, в течение XIX века Европа добилась правовой эмансипации личности и могла все усилия свои сосредоточить на том, чтобы дать праву реальность, т. е. обеспечить его в экономическом отношении.

У нас по этой части все шло шиворот-навыворот. Мы учились у Запада, жадно прислушивались к тому, что проповедуется с берлинских кафедр и парижских трибун, читали Жорж Санд, Блана и прочих, а между тем государственная жизнь покоилась на крепостном праве, т. е. на полнейшем отрицании личности, семья – на идеях Домостроя, отрицавших личность жены и детей перед воплощением патриархального права, т. е. отцом. Это противоречие сразу бросалось в глаза и в 40-х, и в 60-х годах не менее ярко, чем в 20-х, или даже в предыдущем столетии.

В экономическом отношении крепостная Россия была сравнительно обеспечена и не без основания верила, что служит житницей Европы, способной уморить последнюю с голоду, если та поведет себя нехорошо. Поэтому думать о вопросах экономических было преждевременно, пока крепостная личность не получит права гражданства.

Белинский уже очень серьезно занимается этим вопросом, не меньше внимания уделяет ему и Герцен. Наступают, наконец, 60-е годы. Вино подается новое, но меха остаются прежними. Эти меха – крепостная личность, крепостная, хотя не юридически уже; оно, крепостное право, “фактично” благодаря своей дикости, невежеству, умственной робости.

Отчаянным натиском и геройским приступом 60-е годы заняли много позиций, где очень самодовольно и в кажущейся безопасности гнездились устои прежней жизни. Если их можно было, и притом сравнительно легко, выкурить из кодекса законов, то выкурить их из понятий оказалось куда труднее – прямо не под силу никому. Писарев посвятил этому всю свою молодую жизнь, всю страсть своей горячей натуры, весь свой громадный талант, и мне думается, что он шел верной дорогой, дополняя

“Современник” с его строгой “политико-экономической программой”. “Отношения между мужем и женою, между отцом и сыном, матерью и дочерью, воспитателем и воспитанником – все это, – говорил он, – должно быть обсуживаемо и рассматриваемо с самых разнообразных точек зрения. И это обсуждение не должно привести к составлению законов семейной жизни. Боже упаси! Догматизм вреден в таких отношениях, в которых не должно быть ничего условного, в которых понятие обязанности должно уступить место свободному влечению и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убеждения об условиях домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековою плесенью”.

Русская история постоянно грешила каким-то вполне систематическим отрицанием личности. В этом повинны столько же монгольское иго, сколько и Петр Великий. Человека на сцене не было никогда, разве в легендарный период, когда соловьи-разбойники прятались по лесам муромским и брянским. Люди, создавшие русское просвещение, как нельзя лучше понимали это, и эмансипация личности – нерв прогрессивной русской мысли.

Проповедуя ее, Писарев утверждается на почве выгоды и экономии сил, оставляя, таким образом, шаткие подмостки добра и зла. Он не говорит, как Белинский: “Уважайте достоинство человека, личности, чтобы быть добродетельным”, а, обращаясь к здравому смыслу и рассудку своих читателей, старается доказать им, что счастье может быть достигнуто только при этом условии. И это не личное маленькое счастье, а напротив – широкое, общечеловеческое счастье. Ему жаль, и притом совершенно основательно жаль, тех иногда недюжинных сил, которые разбрасываются на служение обычаям и приличиям, в погоне за различными иллюзиями, и той работы, которая совершенно не отвечает естественному их влечению. И такая постановка вопроса совсем не пустяшная, а как раз наоборот. Похоже смотрели на дело и Сократ, и Платон, и все, кто умел трезво взглянуть на человеческую и общественную жизнь. “Познай самого себя” – учил здравый, глубоко практический гений Греции. Что, собственно, означает это познание самого себя? Оно означает, что обязанность каждого человека и гражданина заключается прежде всего в том, чтобы взвесить свои силы, тщательно и без всякого самообольщения определить их размеры и найти для них такую точку приложения, когда они могли бы обеспечить наибольшую пользу для общества, наибольшее счастье для самой

личности.

Таков истинный смысл эмансипации личности, как понимал ее Писарев. Личность свободно определяет свои силы и свое влечение и свободно работает на избранном поприще. В результате – прежде всего экономия сил.

Это – существеннейший пункт.

Было когда-то в моде восторгаться мудростью природы и писать на тему о том, как все прекрасно устроено в этом лучшем из миров. Наконец наука пришла к той простой мысли, что хотя природа и совершенствуется по части приспособления, но делает это с безумной расточительностью. Лотце уподобляет природу охотнику, который, желая убить одного зайца, делает во все стороны 10 тысяч выстрелов, в чаянии, что авось какой-нибудь заряд и попадет куда нужно. А не попадет – что за беда?

Нельзя не согласиться, что до сей поры эволюция и развитие общества мало чем отличались от эволюции и развития природы. Та же безумная расточительность, те же 10 тысяч выстрелов по одному несчастному зайцу прежде всего бросаются в глаза. Совершенно прав поэтому Гальтон, говоря:

> “Процесс эволюции происходил, по-видимому, до сей поры так, что мы, рассуждая с нашей человеческой точки зрения, не можем не признать в нем большой и напрасной траты сил и жизней, и не видеть в нем полного пренебрежения к страданиям отдельных индивидуумов”.

Этими словами Гальтон прекрасно определяет позицию нового научного движения. Путем бесконечно долгой и упорной работы мысли человек отделил себя от природы и уверовал, что он может и должен устроить свое благополучие, пользуясь собственными силами и средствами. Следовательно, он признал, что его дорога к счастью другая, чем у природы-матери, если у последней вообще есть какая-нибудь дорога. И новое научное движение старается эволюцию общества отделить от эволюции природы. В чем же могут они разойтись? Мне кажется, лишь в двух пунктах: первый – в экономизировании сил и второй – в уважении личности как таковой. Экономия сил для природы – вещь совершенно чуждая. Так же чуждо для нее уважение к личности, индивидууму. К ним она относится с обидным пренебрежением, и жертвует миллионами, не чувствуя при этом ни малейшего угрызения совести. Всякий знает, я думаю, какая это, в сущности, жестокая, с нашей человеческой точки

зрения, вещь – естественный отбор. Гибнут десятки и сотни, чтобы дать возможность выжить одному.

Говорить читателю, что деятельность Писарева заключалась, главным образом, в пропаганде этих двух великих идей новой науки, т. е. экономии сил и признании за каждым права на полноту существования, – излишне. Но надо заметить, что он – русский человек, следовательно, мот. Он забыл на свои философско-исторические взгляды налепить соответствующие ярлыки, забыл указать в нужном месте, что это его мысль, что раньше, до него, этого никто не говорил.

Причина, как видит читатель, совершенно основательная, чтобы пользовались его идеями, не указывая источника. Но еще большая беда, что как журналист Писарев не успел придать своим взглядам научный характер и систематически изложить их в двух – или сколько там – томах с соответствующими ссылками на первоисточники. Но что будешь делать? Не удалось Белинскому написать своей “Истории литературы”, а пришлось разбросать ее на протяжении XII томов; не удалось и Писареву разработать свою идею “до таких ясных и осязательных результатов, до каких еще никто не доводил раньше меня”, как выражается он в письме к матери. Он ограничился журнальными статьями, по необходимости обремененными массой постороннего текущего материала. Но все же очевидно, что он больше, чем кто-нибудь из русских писателей, сделал для того, чтобы закрепить за русским самосознанием великую и плодотворную идею об исторической силе эмансипированной, критической личности.

---

**notes**

# Примечания

# 1

Так Григорович почему-то называет Н.А. Добролюбова.

# 2

Немного музыки (фр.).

# 3

“Приличный и хорошо воспитанный молодой человек” (фр.).

# 4

Ребенку из хорошей семьи (фр.).

# 5

“Ребенок-резонер” (фр.).

# 6

“Но, мама, разве есть такие дети, разве можно не слушаться, когда папа или мама что-нибудь приказывают?” (фр.).

# 7

Ребенок из хорошей семьи, приличный ребенок, ваш нежный и почтительный сын (фр.).

# 8

“Три мушкетера” (фр.).

# 9

“Уже более недели, как я – верноподданный Александра II, потому что прошлый понедельник принимал присягу на верность нашему императору в гимназической церкви. Это вызвало во мне маленькое чувство гордости, так как я увидел, что меня считают достаточно взрослым, чтоб совершать такие серьезные акты и принимать на себя такие торжественные обязательства”.

# 10

После продажи Знаменского Писаревы перебрались в другое свое имение – Грунец. С этой поры их денежные дела стали идти из рук вон плохо.

# 11

Креозотов – псевдоним Касторского в статье Д.И. Писарева “Наша университетская наука”.

# 12

Телицын – псевдоним Сухомлинова в статье Д. И. Писарева “Наша университетская наука”.

# 13

Хлыст, розга (лат.).

# 14

Дмитрий плохо кончил и стал Сен-Жюстом в миниатюре (фр.).

# 15

Любовь – это болезнь (фр.).

# 16

Довольно прилежания, немного и надо его.

# 17

Писарев страдал dementia melancholica. Сущность его болезни сводилась к мрачному состоянию души, вызвавшему две попытки самоубийства, в абсолютной подозрительности и потере осознания времени. Четыре месяца казались ему одним бесконечно долгим днем. Но все окружавшее его он понимал как нельзя лучше.

# 18

Об Аполлонии Тианском. Иронианский – профессор Благовещенский.

# 19

Жребий брошен (лат.).

# 20

Согласно с моими убеждениями женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчета никому, даже своему мужу. Если женщина, которая могла бы наслаждаться жизнью, не наслаждается ею, то в этом нет добродетели. Такое поведение является результатом массы предрассудков, которые стесняют и производят бесполезные и воображаемые затруднения. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться ею. С такой точки зрения смотрю я на нее и нахожу справедливым, чтобы каждый руководился тем же великолепным правилом (фр.).

# 21

“С животным воодушевлением” (фр.).

# 22

“Вечной женственности” (нем.).

# 23

Нужно уметь принимать с достоинством политическое поражение (фр.).

# 24

Одна из bon-mots (острот – Ред.) Благосветлова, которому Писарев по своей наивности верил.

# 25

“Делай что хочешь” (фр.).

# 26

Более роялисты, чем сам король (фр.).

# 27

О назначении литературы Писарев высказался уже в статье “Схоластика” и других.

# 28

“Абсолютное сомнение” (фр.).